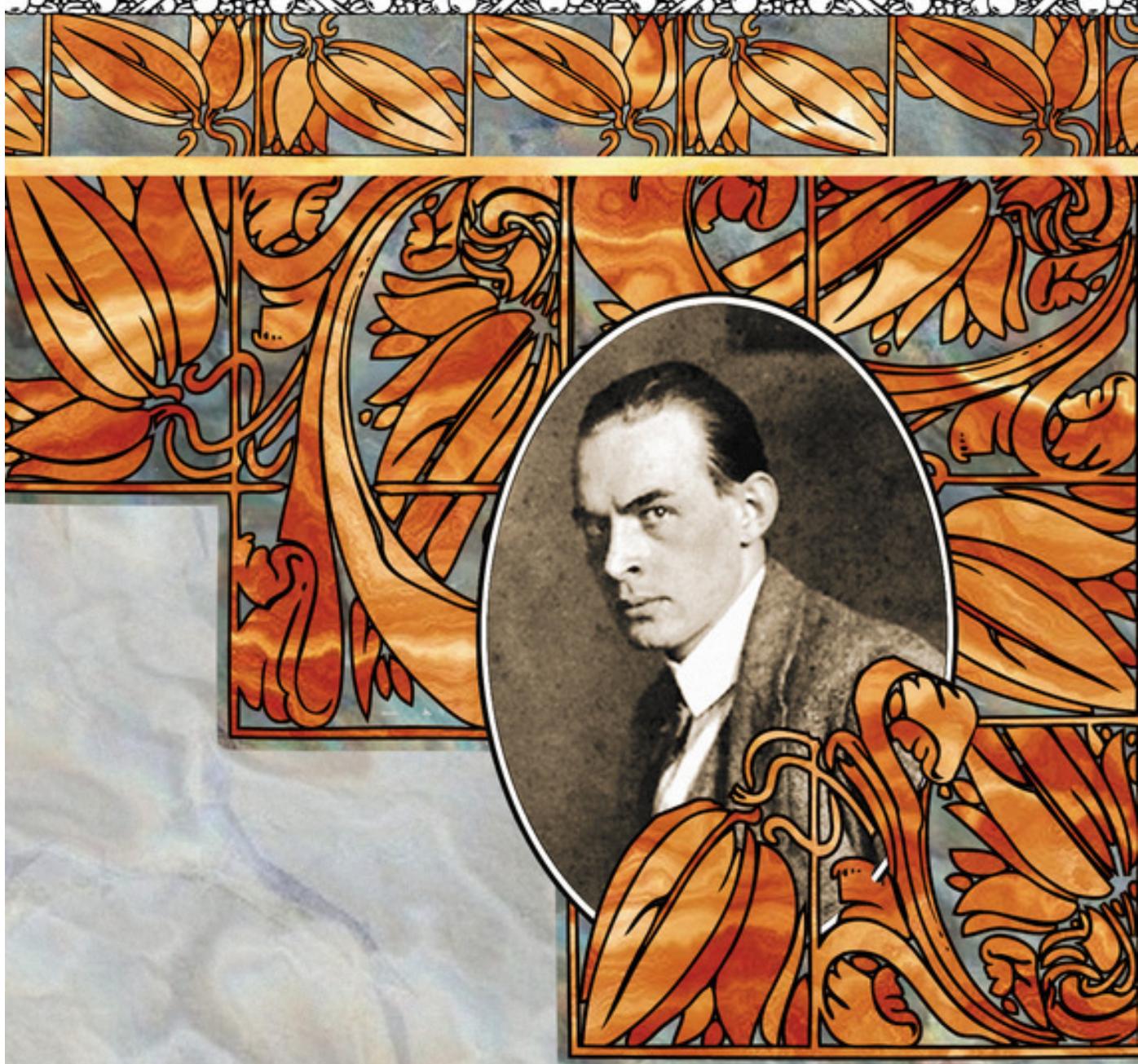


ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА



ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ



Эрих Мария Ремарк

Жизнь взаймы

«ACT»

1961

Ремарк Э.

Жизнь взаймы / Э. Ремарк — «ACT», 1961

ISBN 978-5-271-32299-0

Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что терять, в сущности, уже нечего. Это – любовь на грани обреченности. Это – роскошь на грани разорения. Это – веселье на грани горя и риск на грани гибели. Будущего – нет. Смерть – не слово, а реальность. Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна!..

ISBN 978-5-271-32299-0

© Ремарк Э., 1961
© ACT, 1961

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

36

Эрих Мария Ремарк

Жизнь взаймы

Остановив машину у заправочной станции, перед которой был расчищен снег, Клерфэ посигналил. Над телефонными столбами каркали вороны, а в маленькой мастерской позади заправочной станции кто-то стучал по жести. Но вот стук прекратился, и оттуда вышел паренек лет шестнадцати, в красном свитере и в очках со стальной оправой.

– Заправь бак, – сказал Клерфэ, вылезая из машины.

– Высший сорт?

– Да. Где здесь можно поесть?

Большим пальцем парнишка показал через дорогу.

– Там, в гостинице. Сегодня у них на обед были свиные ножки с кислой капустой.

Столовая в гостинице не проветривалась, пахло старым пивом и долгой зимой. Клерфэ заказал мясо по-швейцарски, порцию вашеронского сыра и графин белого эгля; он попросил подать еду на террасу. Было не очень холодно. Небо казалось огромным и синим, как цветы горчанки.

– Не окатить ли вашу машину из шланга? – крикнул паренек с заправочной станции. – Видит Бог, старуха в этом нуждается.

– Нет, протри только ветровое стекло.

Машину не мыли уже много дней, и это было сразу заметно. После ливня крылья и капот, покрывшиеся на побережье в Сен-Рафаэле красной пылью, стали походить на разрисованную ткань. На дорогах Шампани кузов машины залепило известковыми брызгами от луж и грязью, которую разбрасывали задние колеса многочисленных грузовиков, когда их обгоняли.

«Что меня сюда привело? – подумал Клерфэ. – Кататься на лыжах, пожалуй, уже поздновато. Значит, сострадание? Сострадание – плохой спутник, но еще хуже, когда оно становится целью путешествия».

Он встал.

– Это километры? – спросил паренек в красном свитере, указывая на спидометр.

– Нет, мили.

Паренек свистнул.

– Как это вас занесло в Альпы? Почему вы со своим рысаком не на автостраде?

Клерфэ посмотрел на него. Он увидел блестящие стекла очков, вздернутый нос, прыщи, оттопыренные уши – существо, только что сменившее меланхолию детства на все ошибки полу-взрослого состояния.

– Не всегда поступаешь правильно, сын мой. Даже если сам сознаешь. Но именно в этом иногда заключается прелест жизни. Понятно?

– Нет, – ответил паренек, сморщив нос.

– Как тебя зовут?

– Геринг.

– Что?

– Геринг. – Юноша осклабился, переднего зуба не хватало. – Но по имени Губерт.

– Родственник того...

– Нет, – прервал его Губерт, – мы базельские Геринги. Если бы я был из тех, мне не пришлось бы качать бензин. Мы получали бы жирную пенсию.

Клерфэ испытующе посмотрел на него.

– Странный сегодня день, – сказал он, помедлив. – Вот уж не ожидал встретить такого, как ты. Желаю тебе успеха в жизни, сын мой. Ты меня поразил.

— А вы меня нет. Вы ведь гонщик, правда?

— Откуда ты знаешь?

Губерт Геринг показал на почти стертый номер, который виднелся из-под грязи на радиаторе.

— А ты, оказывается, еще и мыслитель! — Клерфэ сел в машину. — Может, тебя лучше заслабовременно упрыгать в тюрьму, чтобы избавить человечество от нового несчастья? Когда ты станешь премьер-министром, будет уже поздно.

Он включил мотор.

— Вы забыли уплатить, — заявил Губерт. — С вас сорок две монетки.

— Монетки! — Клерфэ отдал ему деньги. — Это меня отчасти успокаивает, Губерт, — сказал он. — В стране, где деньгам дают ласкательные имена, никогда не будет фашизма.

Машина быстро взобралась на гору, и вдруг перед Клерфэ открылась долина, расплывчато-синяя в сумеречном свете, с разбросанными тут и там деревенскими домишками, со зданиями отелей, белыми крышами, покосившейся церковью, катками и первыми огоньками в окнах.

Клерфэ поехал вниз по извилистому шоссе, но вскоре обнаружил, что со свечами неладно. Прислушиваясь, Клерфэ заставил мотор несколько раз взреветь. «Забросало маслом», — подумал он и остановил машину, как только выехал на прямую. Открыв капот, он несколько раз нажал на ручной акселератор. Мотор опять взревел.

Клерфэ выпрямился.

В ту же секунду он увидел пару запряженных в санки лошадей, которые рысью бежали ему навстречу; напуганные внезапным шумом, они понесли. Став на дыбы, лошади вывернули санки прямо к машине. Клерфэ подскочил к лошадям, ухватил их под уздцы и повис на них так, чтобы его не могли достать копыта. Сделав несколько рывков, лошади остановились. Они дрожали, над мордами поднимался пар от их дыхания; а глаза были дикие, безумные; казалось, что это морды каких-то допотопных животных. Клерфэ удерживал лошадей несколько секунд. Потом осторожно отпустил ремни. Животные не двигались с места, только фыркали и позванивали колокольчиками.

Высокий мужчина в черной меховой шапке, стоя в санках, успокаивал лошадей. На Клерфэ он не обращал внимания. Позади него сидела молодая женщина, крепко ухватившись за поручни. У нее было загорелое лицо и очень светлые, прозрачные глаза.

— Сожалею, что испугал вас, — сказал Клерфэ. — Но я полагал, что лошади во всем мире уже привыкли к машинам.

Мужчина ослабил вожжи и сел вполоборота к Клерфэ.

— Да, но не к машинам, которые производят такой шум, — возразил он холодно. — Тем не менее я мог бы их удержать. И все же благодарю вас за помощь. Надеюсь, вы не выпачкались.

Клерфэ посмотрел на свои брюки, потом перевел взгляд на мужчину. Он увидел холодное, надменное лицо, глаза, в которых тлела чуть заметная издевка, —казалось, незнакомец насмехался над тем, что Клерфэ пытался разыграть из себя героя. Уже давно никто не вызывал в Клерфэ такой антипатии с первого взгляда.

— Нет, я не выпачкался, — ответил он медленно. — Меня не так уж легко запачкать.

Клерфэ еще раз посмотрел на женщину. «Вот в чем причина, — подумал он. — Хочет сам остаться героем». Он усмехнулся и пошел к машине.

* * *

Санаторий «Монтана» был расположен над деревней. Клерфэ осторожно ехал в гору по спиралям дороги, пробираясь между лыжниками, спортивными санями и женщинами в ярких

брюках. Он решил навестить своего бывшего напарника Хольмана, который заболел немногим больше года назад; после тысячекилометровых гонок в Италии у него началось кровохарканье, и врач установил туберкулез. Хольман сперва рассмеялся; если это действительно так, ему дадут горсть таблеток, сделают побольше уколов, и все снова будет в порядке. Однако антибиотики оказались далеко не такими всемогущими и безотказными, как можно было ожидать, особенно когда дело касалось людей, которые росли в годы войны и плохо питались. Наконец врач послал Хольмана в горы лечиться старомодным способом: покоем, свежим воздухом и солнцем. Хольман вначале бушевал, а потом покорился. Два месяца, которые он должен был здесь провести, растянулись почти что на год.

Как только машина остановилась, Хольман выбежал ей навстречу. Клерфэ смотрел на него, пораженный: он думал, что Хольман лежит в постели.

— Клерфэ! — закричал Хольман. — Нет, я не ошибся. Я сразу узнал мотор! «Он рычит, как старик „Джуゼppe“», — подумал я. И вот вы оба здесь! — Он возбужденно тряс руку Клерфэ. — Ну и сюрприз! Да еще вместе со старым львом «Джуゼppe»! Ведь это сам «Джуゼppe», а не его младший брат?

— Это «Джуゼppe». — Клерфэ вышел из машины. — И с теми же капризами, что и раньше, хотя теперь он уже на пенсии. Я купил его у фирмы, чтобы спасти от худшей судьбы. А он платит мне тем, что немедленно забрасывает маслом свечи, как только я замечтаюсь в пути. У него характерец дай Боже.

Хольман рассмеялся. Он никак не мог отойти от машины. На ней он раз десять, а то и больше, участвовал в гонках.

Клерфэ посмотрел на Хольмана.

— Ты хорошо выглядишь, — сказал он. — А я думал, что ты в постели. Тут скорее отель, чем санаторий.

— Все это входит в курс лечения. Прикладная психология. Два слова здесь, в горах, табу — болезнь и смерть. Одно из них слишком старомодное, другое — слишком само собой разумеющееся.

Клерфэ рассмеялся:

— Совсем как у нас. Правда?

— Да, похоже на то, как было у нас внизу. — Хольман отвернулся от машины. — Входи, Клерфэ! Хочешь выпить?

— А что здесь есть?

— Официально — только соки и минеральная вода. Неофициально, — Хольман похлопал по боковому карману, — плоские бутылки с джином и коньяком, которые легко спрятать; благодаря им апельсиновый сок больше радует душу. Откуда ты?

— Из Монте-Карло. Хольман остановился.

— Там были гонки?

— Ты что, не читаешь спортивной хроники? Хольман отвел глаза.

— Вначале читал. А в последние месяцы бросил. Идиотизм, правда?

— Нет, — ответил Клерфэ. — Правильно! Будешь читать, когда снова начнешь ездить.

— Кто ездил с тобой в Монте-Карло?

— Торриани.

— Торриани? Ты с ним теперь постоянно езишь?

— Нет, — сказал Клерфэ, — я езжу то с одним, то с другим. Жду тебя.

Он говорил неправду. Вот уже полгода, как он ездил с Торриани; но поскольку Хольман не читал больше спортивной хроники, ему можно было спокойно солгать.

— Мы все ждем тебя, — добавил он.

— В самом деле? Вы меня еще не забыли?

— Не будь дураком. Хольман сиял.

- Как было в Монте-Карло?
- Никак. Поршни заклинило. Я выбыл.
- С «Джузеппе»?
- Нет, с его младшим братом.
- «Джузеппе» тебе отомстил.

Хольман засмеялся; лучшим лекарством для него было сообщение о том, что Клерфэ не победил с его преемником. Он хотел продолжать расспросы – в один миг к нему вернулась прежняя восторженность, – но Клерфэ поднял руку.

- У вас тут два табу, прибавим к ним еще одно – гонки: не будем говорить о них.
- Но... Клерфэ! Это совершенно невозможно. Почему?
- Я устал. Я приехал сюда отдохнуть и хоть несколько дней не слышать об этом безобразии, будь оно проклято! Не хочу ничего слышать о сверхбыстроходных машинах, на которых людей заставляют мчаться с бешеною скоростью.

Хольман внимательно посмотрел на него:

- Что-нибудь случилось?
- Нет, просто я суеверен. Мой контракт истекает и еще не возобновлен. Вот и все.
- Клерфэ, – сказал Хольман спокойно, – кто разбился?
- Сильва.
- Умер?
- Еще нет. Если ему повезет, отделяется ампутацией ноги. Но та сумасшедшая, которая с ним повсюду разъезжала, самозваная баронесса, отказывается видеть его. Сидит в казино и ревет. Ей не нужен калека... А теперь пошли, и дай мне джину.

Они сели за столик у окна. Отпив немного апельсинового соку, Клерфэ под столом долил в свой стакан джину.

- Как на школьной экскурсии. Последний раз я делал это тогда. Пятьсот лет назад.
- Хольман забрал у него плоскую бутылку.
- Гостям дают спиртное. Но так проще. Клерфэ огляделся:
- Здесь все больные?
- Нет. Есть и гости.
- Те, что с бледными лицами, – это больные?
- Нет, это здоровые. Они такие бледные потому, что только сейчас поднялись в горы.

Сколько ты сможешь у нас пробыть?

- Два-три дня. Где тут можно остановиться?
- В «Палас-отеле». Там хороший бар.

Клерфэ увидел в окно санки и лошадей, которые испугались машины. Они подъехали к входу. Овчарка, лежавшая в холле, бросилась через открытую дверь к мужчине в меховой шапке и прыгнула ему на грудь.

- Кто это? – спросил Клерфэ.
- Женщина?
- Нет, мужчина.
- Русский. Борис Волков.
- Советский?

– Нет, белоэмигрант. В виде исключения, этот не бедный и не из бывших великих князей. Его отец своевременно, до того как его расстреляли, открыл текущий счет в Лондоне; мать явилась сюда с горстью изумрудов, каждый величиной с вишневую косточку, она их не то проглотила, не то зашила в корсет. В то время еще носили корсеты.

Клерфэ улыбнулся:

- Откуда ты это знаешь?

— Здесь быстро узнаешь все друг о друге, стоит только побывать подольше, — ответил Хольман с легкой горечью. — Через две недели, когда кончится спортивный сезон, мы опять до конца года окажемся всего-навсего в маленькой деревушке.

Несколько человек невысокого роста, одетые в черное, прошли почти вплотную к Клерфэ и Хольману. Протискиваясь к своему столику, они оживленно разговаривали по-испански.

— Для маленькой деревушки вы тут слишком интернациональны, — заметил Клерфэ.

— Это правда. Смерть все еще не стала шовинисткой.

— В этом я не так уж уверен.

Клерфэ смотрел, как женщина выходила из санок. Потом взглянул на Хольмана.

— Что с тобой? — спросил он. — Мировая скорбь? Хольман покачал головой:

— Нет, ничего. Но иногда вдруг кажется, что это заведение — просто большая тюрьма.

Пусть солнечная и комфорtabельная, но все же тюрьма.

Клерфэ ничего не ответил. Он знал другие тюрьмы. Но он знал также, почему Хольман об этом подумал. Все дело было в машине. Его взволновал «Джуゼppe». Клерфэ вновь посмотрел в окно. Солнце стояло очень низко, окрашивая снег в мрачный красноватый цвет. Русский и женщина, переговариваясь, стояли у входа.

— Это его жена? — спросил Клерфэ.

— Нет.

— Так я и думал. Она больна?

— Да. И он тоже.

— По ним этого не скажешь.

— Так оно всегда бывает. При этой болезни некоторое время выглядишь цветущим, как сама жизнь. И чувствуешь себя соответственно. До тех пор, пока вдруг перестаешь так выглядеть; но тогда на тебя уже почти никто не глядит.

Те двое вошли. Клерфэ показалось, что они в ссоре. Они остановились: русский что-то тихо и настойчиво говорил женщине. Постояв немного, она покачала головой и быстро пошла к лифту. Ее спутник сделал движение, словно хотел последовать за ней, а затем снова вышел на улицу и сел в санки.

— Он живет не здесь? — спросил Клерфэ.

— Нет. У него тут поблизости дом. Допив свой стакан, Клерфэ встал.

— Поеду в гостиницу, хочу умыться. Где бы нам поесть вместе?

— Здесь. Мне можно будет посидеть с тобой — у меня уже целую неделю нормальная температура. Запрещено выходить только после захода солнца. Кормят у нас неплохо. На большинскую еду не похоже. Гостям дают даже легкое вино.

— Ладно. А когда?

— Когда захочешь. В девять мы ложимся. Совсем как дети. Правда?

— Нет, как солдаты. Отбой — и крышка! Перед серьезной гонкой ведь тоже ложишься рано.

Лицо Хольмана просветлело.

— Конечно, это можно рассматривать и так.

Женщина опять появилась в холле. Она направилась было к выходу, но ее остановила седая дама, которая что-то энергично сказала ей. В ответ та горячо произнесла несколько слов, круто повернулась и, увидев Хольмана, подошла к нему.

— Крокодилица не хочет меня выпускать, — сердито прошептала она. — Утверждает, что вчера у меня была температура. И что я не должна была кататься на санках. Она говорит, что ей придется сообщить обо всем Далай-Ламе, если я еще раз...

Только теперь она заметила Клерфэ и замолчала.

— Это Клерфэ, Лилиан, — сказал Хольман. — Я вам про него рассказывал. Он приехал неожиданно.

Прозрачные глаза женщины остановились на Клерфэ; казалось, она смотрит сквозь него.

– Откуда вы приехали?

– С Ривьеры.

Клерфэ не понимал, зачем ей это надо знать. Она опять повернулась к Хольману.

– Крокодилица хочет уложить меня в постель, – сказала она взволнованно. – И Борис тоже. А как вы? Вы не ляжете?

– До девяти – нет.

– Я тоже приду. После вечернего обхода. Я не дам себя запереть! Особенно сегодня ночью.

Рассеянно кивнув Клерфэ, она вышла из холла.

– Тебе, наверно, все это кажется китайской грамотой. Далай-Лама – это, разумеется, наш профессор. Крокодилица – старшая сестра…

– А кто эта женщина?

– Ее зовут Лилиан Дюнкерк. Разве я тебе не говорил? Она бельгийка, ее мать была француженкой. Родители ее умерли.

– Красивая женщина. Почему она так волнуется из-за пустяков?

Хольман на минуту замялся.

– Так всегда бывает в санатории, когда кто-нибудь умирает, – сказал он смущенно. – Ведь мертвый уносит частицу тебя самого. Какую-то долю надежды. Умерла ее подруга.

Верхние этажи санатория отнюдь не походили на отель; то была больница. Лилиан Дюнкерк остановилась перед комнатой, в которой умерла Агнес Сомервилл. Услышав голоса и шум, она открыла дверь.

Гроб уже вынесли. Окна были открыты, и две здоровенные уборщицы мыли пол. Плескалась вода, пахло лизолом и мылом, мебель была сдвинута, и резкий электрический свет освещал все углы.

Лилиан остановилась в дверях. На минуту ей показалось, что она не туда попала. Но потом она увидела маленького плюшевого медвежонка, заброшенного на шкаф; это был талисман покойной.

– Ее уже увезли? – спросила она. Одна из уборщиц выпрямилась.

– Из восемнадцатого номера? Нет, ее перенесли в седьмой. Оттуда ее увезут сегодня вечером. Мы здесь убираем. Завтра приедет новенькая.

– Спасибо.

Лилиан закрыла дверь и пошла по коридору. Она знала комнату номер семь. Это была маленькая комнатушка, и находилась она рядом с грузовым лифтом. В нее переносили покойников – оттуда их удобнее было спускать на лифте. «Совсем как чемоданы», – подумала Лилиан Дюнкерк. А потом все вокруг вымывали мылом и лизолом, чтобы от мертвых не осталось ни малейшего следа.

Лилиан Дюнкерк снова оказалась у себя в комнате. В трубах центрального отопления что-то гудело. Все лампы были зажжены.

«Я схожу с ума, – подумала она. – Я боюсь ночи. Боюсь самой себя. Что делать? Можно принять снотворное и не гасить свет. Можно позвонить Борису и поговорить с ним».

Она протянула руку к телефону, но не сняла трубки. Она знала, что он ей скажет. Она знала также, что он будет прав; но какая в том польза, даже если знаешь, что другой прав? Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Люди живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав.

Лилиан устроилась в кресле у окна.

«Мне двадцать четыре года, – думала она, – столько же, сколько Агнес. Но Агнес умерла. Уже четыре года, как я здесь, в горах. А перед тем четыре года была война. Что я знаю о жизни?»

Разрушения, бегство из Бельгии, слезы, страх, смерть родителей, голод, а потом болезнь из-за голода и бегства. До этого я была ребенком. Я уже почти не помню, как выглядят города ночью. Что я знаю о море огней, о проспектах и улицах, сверкающих по ночам? Мне знакомы лишь затемненные окна и град бомб, падающих из мрака. Мне знакомы лишь оккупация, поиски убежища и холод. Счастье? Как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в моих мечтах. Счастьем стали казаться нетопленая комната, кусок хлеба, убежище, любое место, которое не обстреливалось. А потом я попала в санаторий».

Лилиан пристально смотрела в окно. Внизу, у входа для поставщиков и прислуги, стояли сани. Это были сани крематория. Скоро вынесут Агнес Сомервилл. Год назад она подъехала к главному входу санатория – смеющаяся, в мехах, с охапками цветов; теперь Агнес покидала дом через служебный вход, как будто не уплатила по счету. Всего шесть недель назад она вместе с Лилиан еще строила планы отъезда. Отъезд! Недостижимый фантом, мираж.

Зазвонил телефон.

Помедлив, она сняла трубку.

– Да, Борис. – Она внимательно слушала. – Да, Борис. Да, я веду себя разумно… да, я знаю, что нам это только кажется, потому что мы все тут живем вместе… да, многие вылечиваются… да, да… новые средства… да, процент людей, умирающих внизу, в городах, гораздо выше… да, я знаю, что в войне погибли миллионы… да, Борис, но для нас это, вероятно, было слишком много; мы видели чересчур много смертей, да, я знаю, что надо привыкнуть, но для некоторых это, наверное, невозможно… да, да, Борис, я веду себя разумно… обязательно… нет, не приходи… да, я тебя люблю, Борис, конечно… Лилиан положила трубку.

– Вести себя разумно, – прошептала она и взглянула на часы.

Было около девяти. Ей предстояла нескончаемая ночь. Она поднялась. Только бы не остаться одной! В столовой еще должны быть люди.

Кроме Хольмана и Клерфэ, в столовой сидели еще южноамериканцы – двое мужчин и одна довольно толстая маленькая женщина. Все трое были одеты в черное; все трое молчали. Они сидели посередине комнаты под яркой лампой и походили на маленькие черные холмики.

– Они из Боготы, – сказал Хольман. – Дочь мужчины в роговых очках при смерти. Им сообщили об этом по телефону. Но с тех пор, как они приехали, ей стало лучше. Теперь они не знают, что делать – лететь обратно или остаться здесь.

– Почему бы не остаться одной матери, а остальным улететь?

– Толстуха – не мать. Она – мачеха. Мануэла живет здесь на ее деньги. Собственно говоря, никто из них не хочет оставаться, даже отец. Они давно забыли Мануэлу. Вот уже пять лет, как они регулярно посыпают ей чеки из Боготы, а Мануэла живет здесь и каждый месяц пишет им письма. У отца с мачехой уже давно свои дети, которых Мануэла не знает. Все шло хорошо, пока им не сообщили, что Мануэла при смерти. Тут уж, разумеется, пришлося приехать ради собственной репутации. Но женщина не захотела отпускать мужа одного. Она ревнива и понимает, что слишком растолстела. В качестве подкрепления она взяла с собой брата. В Боготе уже пошли разговоры, что она выгнала Мануэлу из дома. Теперь она решила показать, что любит падчерицу. Так что дело не только в ревности, но и в престиже. Если она вернется одна, снова начнутся толки. Вот почему они сидят и ждут.

– А Мануэла?

– Приехав, они ее вдруг горячо полюбили. И бедняжка Мануэла, никогда в жизни не зная любви, почувствовала себя такой счастливой, что стала поправляться. А ее родственники от нетерпения толстеют с каждым днем; у них нервный голод, и они объедаются сластями, которыми славятся эти места. Через неделю они возненавидят Мануэлу за то, что она недостаточно быстро умирает.

— Или же приживутся здесь, купят кондитерскую и обоснуются в деревне, — сказал Клерфэ.

Хольман рассмеялся:

— Какая у тебя мрачная фантазия.

Клерфэ покачал головой:

— Фантазия? У меня мрачный опыт.

Три черные фигуры поднялись, не произнеся ни слова. Торжественно, соблюдая достоинство, они гуськом направились к двери и чуть не столкнулись с Лилиан Дюнкерк. Она вошла так стремительно, что женщина в испуге отшатнулась, издав пронзительный птичий крик.

Лилиан торопливо подошла к столику, где сидели Хольман и Клерфэ.

— Разве я похожа на призрак? — прошептала она. — А может, да? Уже?

Лилиан вынула из сумочки зеркальце.

— Нет, — сказал Хольман. Лилиан посмотрелась в зеркальце.

«Сейчас она выглядит иначе, чем раньше», — подумал Клерфэ. Черты ее лица казались стершимися, глаза потеряли прозрачный блеск. Лилиан спрятала зеркальце.

— Зачем я это делаю? — пробормотала она, оглядываясь. — Крокодилица уже была здесь?

— Нет, — ответил Хольман, — она должна появиться с минуты на минуту и выгнать нас.

Крокодилица точна, как прусский фельдфебель.

— Сегодня ночью у входа дежурит Жозеф. Мы сможем выйти. Удрать, — шептала Лилиан. — Пойдете с нами?

— Куда? — спросил Клерфэ.

— В «Палас-бар», — сказал Хольман. — Мы так иногда делаем, когда уже нет больше сил терпеть. Тайком удираем через служебный вход в «Палас-бар», в большую жизнь.

— В «Палас-баре» нет ничего особенного. Я как раз оттуда.

— А нам особенного и не надо. Пусть там даже нет ни души. Нас волнует все, что происходит за стенами санатория. Здесь приучаешься довольствоваться самым малым.

— Мы можем выйти, — сказала Лилиан Дюнкерк. — Я посмотрела, за нами никто не следит.

— Не могу, Лилиан, — сказал Хольман. — Сегодня вечером у меня поднялась температура. Черт знает почему! Не понимаю, откуда ее принесло. Очевидно, все дело в том, что я снова увидел вот эту старую грязную гоночную машину.

Лилиан Дюнкерк посмотрела на него взглядом затравленного зверька. Вошла уборщица и принялась ставить стулья на столы, чтобы подмести пол.

— Нам случалось удирать и с температурой, — сказала Лилиан.

— Сегодня я не хочу, Лилиан.

— Из-за старой грязной гоночной машины?

— Да, из-за нее тоже, — ответил Хольман смущенно. — Хочется еще поездить на ней. Одно время я в это уже перестал верить. Но теперь... А Борис не может пойти с вами?

— Борис думает, что я сплю. Сегодня днем я уже и так заставила его катать меня на санках. Он не согласится.

Уборщица раздвинула портьеры. И за окном вдруг появились горные склоны, освещенные луной, черный лес, снег. Все это было огромным и бесчеловечным. Троє людей в большом зале казались совсем затерянными. Уборщица начала гасить лампы. С каждой погашенной лампой природа, казалось, еще на шаг продвигалась в глубь комнаты.

— А вот и Крокодилица, — сказал Хольман. Старшая сестра стояла в дверях. Клерфэ заметил, что Лилиан вся напряглась. Сестра подошла к ним. Глядя на них холодными глазами, она улыбнулась, обнажив сильные челюсти.

— Полуночничаете, как всегда! Пора отдохать, господа! — Она не сказала ни слова по поводу того, что Лилиан еще не ложилась. — Пора отдохать! — повторила она. — В постель, в постель! Завтра тоже будет день!

Лилиан поднялась.

— Вы в этом так уверены?

— Совершенно уверена, — ответила старшая сестра с удручающей веселостью. — Для вас, мисс Дюнкерк, на ночном столике приготовлено снотворное. Вы будете почивать, словно в объятиях Морфея.

— Наша Крокодилица — королева штампованных фраз, — сказал Хольман. — Сегодня вечером она обошлась с нами еще милостиво. И почему эти стражи здоровья обращаются с людьми, которые попали в больницу, с таким терпеливым превосходством, словно те младенцы или кретины?

— Они мстят за свою профессию, — ответила Лилиан с ненавистью. — Если у кельнеров и больничных сестер отнять это право, они умрут от комплекса неполноценности.

Они стояли в холле у лифта.

— Куда вы идете? — спросила Лилиан Клерфэ. Клерфэ помедлил секунду.

— В «Палас-бар», — сказал он затем.

— Возьмете меня с собой?

Он опять помедлил. Перед глазами у него встала сцена с санками. Он увидел надменное лицо русского.

— А почему нет? — сказал он.

Санки остановились перед отелем. Клерфэ заметил, что Лилиан без бот. Он взял ее на руки и пронес несколько шагов. Она сперва противилась, но потом сдалась. Клерфэ опустил Лилиан перед входом.

— Так! — сказал он. — Пара атласных туфелек спасена! Пойдем в бар?

— Да. Мне надо что-нибудь выпить.

В баре было полно. Краснолицые лыжники в тяжелых ботинках топтались по танцевальной площадке. Оркестр играл слишком громко. Кельнер пододвинул к стойке бара столик и два стула.

— Вам водки, как и в прошлый раз? — спросил он Клерфэ.

— Нет, глинтвейну или бордо. — Клерфэ посмотрел на Лилиан: — А вам что?

— Мне водки, — ответила она.

— Значит, бордо, — сказал Клерфэ. — Окажите мне услугу. Я не выношу водку после еды.

Лилиан посмотрела на него подозрительно: она ненавидела, когда с ней обращались как с больной.

— Правда, — сказал Клерфэ. — Водку будем пить завтра, сколько захотите. Парочку бутылек я контрабандой переправлю в санаторий. А сегодня закажем шеваль блан. Это вино такое легкое, что во Франции его зовут «милый боженька в бархатных штанах».

— Вы пили это вино во Вьенне?

— Да, — сказал Клерфэ.

Он говорил неправду, в «Отель де Пирамид» он пил монтраше.

— Хорошо. Подошел кельнер:

— Вас вызывают к телефону, сударь. Кабина справа у двери.

Клерфэ встал:

— А вы принесите пока бутылку шеваль блана тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

И откупорьте ее.

Он вышел.

– Из санатория? – нервно спросила Лилиан, когда он вернулся.

– Нет, звонили из Канна. Из больницы в Канне. Умер один мой знакомый.

– Вы должны уйти?

– Нет, – ответил Клерфэ. – Для него это, можно сказать, счастье.

– Счастье?

– Да. Он разбился во время гонок и остался бы калекой. Лилиан пристально посмотрела на него.

– А не кажется ли вам, что калеки тоже хотят жить? – спросила она.

Клерфэ ответил не сразу. В его ушах еще звучал жесткий, металлический, полный отчаяния голос женщины, говорившей с ним по телефону: «Что мне делать? Сильва ничего не оставил! Ни гроша! Приезжайте! Помогите мне! Я на мели! В этом виноваты вы! Все вы в этом виноваты! Вы и ваши проклятые гонки!»

Он отогнал от себя это воспоминание.

– Все зависит от точки зрения, – сказал он, обращаясь к Лилиан. – Этот человек был безумно влюблен в женщину, которая обманывала его со всеми механиками. Он был страстным гонщиком, но никогда не вышел бы за пределы посредственности. Он ничего не хотел в жизни, кроме побед на гонках и этой женщины. Ничего иного он не желал. И он умер, так и не узнав правды. Умер, не подозревая, что возлюбленная не захотела видеть его, когда ему отняли ногу. Он умер счастливым.

– Вы думаете? А может, он хотел жить, несмотря ни на что.

– Не знаю, – ответил Клерфэ, внезапно сбитый с толку. – Но я видел и более несчастных умирающих. А вы нет?

– Да, – сказала Лилиан упрямо. – Но все они охотно жили бы еще.

Клерфэ помолчал немного. «О чем я говорю? – подумал он. – И с кем? И не говорю ли я, чтобы убедить себя в том, во что сам не верю? Какой жесткий, холодный, металлический голос был у подруги Сильвы, когда она говорила по телефону».

– От судьбы никому не уйти, – сказал он нетерпеливо. – И никто не знает, когда она тебя настигнет. Какой смысл вести торги со временем? И что такое, в сущности, длинная жизнь? Длинное прошлое. Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, – только надежды и иллюзии. Выпьем?

– Вот идет Борис, – сказала Лилиан. – Это можно было предвидеть!

Клерфэ увидел русского раньше Лилиан. Волков медленно пробирался мимо стойки, на которой грозьями висели люди. Он сделал вид, что не замечает Клерфэ.

– Санки ждут тебя, Лилиан, – сказал он.

Она посмотрела на Волкова. Ее лицо побледнело под загаром. Все черты его вдруг заострились. Она вся подобралась, как кошка, приготовившаяся к прыжку.

– Отошли сани, Борис, – сказала она очень спокойно. – Это Клерфэ. Ты познакомился с ним сегодня днем.

Клерфэ поднялся чуть-чуть небрежнее, чем полагалось.

– Неужели? – спросил Волков надменно. – О, действительно! Прошу прощения. – Он скользнул взглядом по Клерфэ. – Вы были в спортивной машине, которая испугала лошадей, не так ли?

В его тоне Клерфэ почувствовал скрытую издевку. Он промолчал.

– Ты, наверное, забыла, что завтра тебе идти на рентген, – сказал Волков, обращаясь к Лилиан.

– Я этого не забыла, Борис.

– Ты должна отдохнуть и выпасть.

— Знаю. Но сегодня вечером в санатории это все для меня невозможно.

Она говорила медленно, как говорят с ребенком, когда тот чего-то не понимает. Это было единственное средство сдержать раздражение. Клерфэ вдруг почувствовал к русскому что-то вроде жалости. Волков сам поставил себя в безвыходное положение.

— Не хотите ли присесть? — предложил он Волкову.

— Спасибо, — ответил русский холодно, словно перед ним был кельнер, который спросил его, не хочет ли он еще что-нибудь заказать.

Он, так же, как прежде Клерфэ, почувствовал в этом приглашении скрытую издевку.

— Я должен подождать здесь одного человека, — сказал он, обращаясь к Лилиан. — Если за это время ты надумаешь, то санки...

— Нет, Борис! — Лилиан вцепилась обеими руками в свою сумочку. — Я хочу еще побывать здесь.

Волков успел надоест Клерфэ.

— Я привел сюда мисс Дюнкерк, — сказал Клерфэ спокойно, — и, по-моему, в состоянии отвести ее обратно.

Волков выпрямился.

— Боюсь, вы понимаете меня превратно, — сказал он сухо, — но говорить на эту тему бесполезно.

Он поклонился Лилиан и пошел обратно к стойке.

Клерфэ снова сел. Он был недоволен собой. «Зачем я впутался в эту историю? — подумал он. — Ведь мне уже не двадцать лет».

— Почему бы вам не уйти с ним? — спросил он.

— Хотите от меня избавиться?

Клерфэ улыбнулся. Задай такой вопрос любая другая женщина, он бы показался ему ужасным. Но как ни странно, у Лилиан он так не прозвучал, и в глазах Клерфэ она ничего не потеряла.

— Нет, — сказал Клерфэ.

— Тогда останемся. — Она бросила взгляд по направлению к стойке. — Он тоже остался, — прошептала она с горечью. — Стережет меня. Думает, что я уступлю.

Клерфэ взял бутылку и налил себе и ей по полрюмки.

— Хорошо. Давайте подождем, кто кого пересидит. Лилиан повернулась к нему.

— Вы не понимаете, — возразила она. — Это вовсе не ревность.

— Да? Ну, тогда я вообще не знаю, что такое ревность. Она сердито посмотрела на него. «Что позволяет себе этот пришелец, этот здоровяк, который говорит о смерти своих друзей так, как люди говорят о спортивных новостях? Разве он в состоянии что-либо понять?»

— Волков несчастен, он болен, и он заботится обо мне, — сказала она холодно. — Когда человек здоров, ему легко чувствовать свое превосходство.

Клерфэ отодвинул бутылку. «Маленькая бестия, хочет сохранить объективность, — подумал он, — и в благодарность за то, что я привел ее сюда, с места в карьер кидается на меня!»

— Возможно, — сказал он равнодушно. — Но разве быть здоровым — это преступление?

Теперь в ее глазах появилось иное выражение.

— Конечно, нет, — пробормотала она. — Я сама не знаю, что говорю. Лучше мне уйти.

Она взяла со стола сумочку, но продолжала сидеть.

— Вы даже не пригубили свою рюмку, — сказал Клерфэ. — Ведь вы сами сказали, что вам надо выпить.

— Да... но...

— Можете со мной не церемониться. Я не очень обидчив.

— Да? А у нас здесь все такие обидчивые.

— А я — нет. Ну, а теперь выпейте наконец свою рюмку. Она выпила.

Когда они выходили, падал снег. Борис уже давно исчез. Санок его тоже не было видно.

Они поехали вверх по шоссе, петлявшему вокруг горы. На лошадиной сбруе звенел колокольчик. В клубящейся мгле дорога казалась очень тихой, но вскоре они услышали другой колокольчик. Кучер придержал лошадь на развилке около фонаря, пропуская сани, съезжавшие с горы.

В снежном вихре встречные сани проскользнули мимо них почти бесшумно. Это были низкие розвальни, на которых стоял длинный ящик, прикрытый черной клеенкой.

Клерфэ почувствовал, как Лилиан сжала его руку. Рядом с ямщиком он увидел брезент, из-под которого выглядывали цветы; второй брезент был наброшен на несколько венков.

Кучер перекрестился и погнал лошадь.

Молча проехав последние петли дороги, они остановились у бокового входа в санаторий. Электрическая лампочка под стеклянным колпаком отбрасывала на снег желтый круг. В этом световом круге валялось несколько оторванных зеленых листочек.

Лилиан Дюнкерк повернулась к Клерфэ.

– Ничего не помогает, – сказала она с кривой усмешкой. – На короткое время об этом забываешь… Но уйти совсем невозможно. – Она открыла дверь. – Спасибо, – пробормотала она. – И простите меня, я была плохой собеседницей. Но я чувствовала, что не в силах остаться сегодня вечером одна.

– Я тоже.

– Вы? Почему?

– По той же причине, что и вы. Я ведь вам говорил. Звонок из Канна.

– Но вы сказали, что это – счастье.

– Счастье можно понимать по-разному. Да и мало ли что говорят. – Клерфэ сунул руку в карман. – Вот вам бутылка водки. Спокойной ночи.

Побродив около часа по снегу, Клерфэ обнаружил на опушке леса небольшое квадратное строение. Из отверстия в его куполообразной крыше валил черный дым. В Клерфэ пробудились омерзительные воспоминания, от которых он пытался избавиться; несколько лет жизни были бессмысленно убиты на это.

– Что там такое? – спросил он молодого парня, сгребавшего снег возле какой-то лавочонки.

– Там? Крематорий, сударь! – Парень оперся на лопату. – Теперь он не так уж часто бывает нужен. Но раньше, перед Первой мировой войной, здесь умирало много народа. Зимой, знаете ли, землю копать трудно. Крематорий гораздо практичнее. Наш существует уже сорок лет.

– Значит, вы построили его до того, как крематории вошли в моду?

Парень посмотрел на Клерфэ непонимающим взглядом.

– Мы всегда идем впереди, в любом практическом начинании, сударь. – Он угрюмо взглянул на квадратное здание; теперь над ним вился только легкий дымок. – Да, сейчас крематории вошли в моду.

– Вот именно, – подтвердил Клерфэ. – И не только здесь.

Парень кивнул.

– Мой отец говорит, что люди потеряли уважение к смерти. И это произошло из-за двух мировых войн.

Дым перестал идти. Клерфэ зажег сигарету. По непонятной ему причине он не хотел закуривать до тех пор, пока из крематория поднимался дым. Он протянул сигарету парню.

– Чем занимается ваш отец?

— Мы торгуем цветами. Если вам что-нибудь понадобится, сударь, знайте, у нас дешевле, чем у этих живодеров в деревне. У нас бывает прекрасный товар. Как раз сегодня утром прибыла новая партия.

Клерфэ задумался. А почему бы ему не послать цветы в санаторий молоденькой бельгийке, этой бунтарке? Вероятно, высокомерный русский разозлится еще больше. Он зашел в лавочонку.

Она имела довольно жалкий вид, и цветы там были самые средние, если не считать нескольких очень красивых, которые совсем не подходили ко всему окружающему. Клерфэ увидел вазу с белой сиренью и большую ветку мелких белых орхидей.

— На редкость свежие! — сказал низенький человечек. — Только сегодня прибыли. Это первоклассные орхидеи. Не завянут по крайней мере недели две. Редкий сорт.

— Упакуйте их, — сказал Клерфэ, вытаскивая из кармана черную шелковую перчатку, которую Лилиан накануне вечером оставила в баре. — И это тоже запакуйте. Найдется у вас конверт или бумага? Ему дали и то и другое.

В санатории было тихо.

Лилиан Дюнкерк, в синих брюках, сидела у себя на балконе. Перед ней в снегу, который намело за ночь, торчала бутылка водки — подарок Клерфэ.

Зазвонил телефон. Лилиан сняла трубку.

— Да, Борис... нет, конечно, нет... к чему мы бы пришли, если бы так поступали?.. Не будем больше говорить об этом... конечно, подымись... да, я одна, кто же может прийти ко мне так рано?..

Лилиан снова вышла на балкон. Она подумала было — не спрятать ли ей водку, но потом взяла стакан и откупорила бутылку.

Водка была отличная и очень холодная.

— Доброе утро, Борис, — сказала она, услышав, как хлопнула дверь. — Я пью водку. Хочешь? Тогда принеси стакан.

Растянувшись в шезлонге, она поджидала его. Волков вышел на балкон, держа в руке стакан. Лилиан вздохнула с облегчением. «Слава Богу, обошлось без нотаций», — подумала она. Волков налил себе. Она протянула ему свой стакан. Он налил и ей доверху.

— Почему ты пьешь, душка¹? — спросил он. — Боишься рентгена?

— Нет, Борис, радуюсь жизни. Он с изумлением поглядел на нее:

— Далай-Лама уже сказал что-нибудь о снимках?

— Нет. Да и что он может сказать? Я не хочу ничего знать.

— Правильно, — сказал Волков. — Выпьем за это.

Он залпом осушил стакан и убрал бутылку.

— Дай-ка мне еще, — сказала Лилиан. — Стаканы совсем маленькие.

— Сколько твоей душе угодно.

Лилиан наблюдала за ним. Она ждала, что он будет уговаривать ее не пить, но Борис был достаточно умен: он угадал ее мысли.

— Налить еще? — спросил он.

— Нет. — Лилиан поставила стакан около себя, не дотронувшись до него. — Борис, — сказала она, — мы слишком хорошо понимаем друг друга. Ты слишком хорошо понимаешь меня, а я тебя, и в этом наша беда.

— Ты права, — сказал Волков. — Великолепная беда! Когда дует фён, ее ощущаешь еще острее.

Лилиан закрыла глаза.

¹ В оригинале — русское слово «душка». — Примеч. пер.

— Иногда мне хочется совершить самый нелепый поступок. Сделать что-нибудь такое, что разобьет эту стеклянную клетку. Кинуться куда-нибудь, не знаю куда.

— Мне тоже, — сказал Волков. Она открыла глаза.

— Тебе? Волков кивнул:

— Всем этого хочется, душка.

— Почему же ты ничего не делаешь?

— Потому что все осталось бы по-прежнему. Я бы только еще сильнее почувствовал, что сижу в клетке.

— Я знаю, Борис. Я ведь тоже только так говорю. Сам понимаешь почему. Боюсь рентгена и не хочу этого показывать.

Она услышала шум мотора раньше, чем его услышал Борис.

Машина Клерфэ взбиралась по петлям дороги вверх, потом она остановилась, и мотор заглох.

— Почему, собственно, ты его терпеть не можешь?

Волков немного помолчал. Его голова и чуть согнутые плечи темным пятном выделялись на фоне серебристого неба. Он вертел в руках стакан, в котором свет преломлялся так, словно стакан был хрустальный. Потом Волков улыбнулся:

— Может быть, потому, что когда-то я был похож на него.

— Разве это причина?

— А почему нет? Не хочу, чтобы мне напоминали о тех временах. Когда он уезжает?

— Не знаю. Думаю, что завтра.

— Люди оттуда всегда приносят с собой беспокойство.

Лилиан закрыла глаза.

— Хочешь спать? — спросил Волков.

— Да. Водка нагоняет сон. Водка и ветер.

Сквозь полуопущенные веки Лилиан увидела, как он прошел мимо шезлонга. На секунду большая фигура заслонила свет, а потом Волков двинулся дальше, и свет, казалось, стал еще ярче.

Лилиан была взволнована, она не могла заснуть. Лежать и читать ей тоже не хотелось. «Это от водки», — подумала она.

Немного погодя она встала и сошла вниз.

К ее удивлению, Клерфэ оказался один. Она ожидала, что с ним Хольман. Клерфэ сидел на скамье у входа.

— Где же ваша машина? — спросила она. — Я ведь слышала, как вы приехали.

— Машину я оставил на дороге. Я не доехал до верха.

— Из-за Хольмана?

— Да, — сказал Клерфэ.

— Где он?

В эту секунду послышался рев мотора.

— Там, — сказал Клерфэ, — он испытывает «Джуゼппе».

Лилиан встала и подошла к краю площадки перед входом в санаторий. Она увидела несколько елок, а за ними машину, которая медленно продвигалась вперед по ближайшему зиянию дороги.

— Он едет! — крикнула она Клерфэ. — Задержите его!

— Зачем? Он еще не разучился вести машину.

— Да не потому! Он может схватить воспаление легких.

— Он тепло одет.

— Но не для открытой спортивной машины. Задержите его!

Поднявшись вверх по крутому виражу, машина миновала санаторий.

– Задержите его! – кричала Лилиан. – Он сейчас помчится как бешеный! Это может плохо кончиться.

Она выбежала на середину дороги.

– Он вас задавит, – сказал Клерфэ, оттаскивая ее в сторону.

Через секунду машина вынырнула из-за санатория и с ревом помчалась вниз с горы. Хольман махал им рукой и смеялся.

– Вы опоздали, – сказал Клерфэ, отпуская Лилиан.

– Надо было остановить его! Почему вы этого не сделали?

– Вы видели, чтобы Хольман хоть раз смеялся здесь так, как он смеялся сейчас? Я не видел.

– Вечером ему будет не до смеха. У него подымется температура.

– Я верю в пользу запретного. Это тоже терапия, – сказал Клерфэ. – А вы не верите?

– Для других не верю. Клерфэ засмеялся.

– Хольман не такой уж твердокаменный, как вы полагаете, и он отнюдь не образец дисциплинированности. Вчера вечером он вовсе не лег в постель. Это он только так говорил. Он удрал вслед за нами, забрался в гараж, где мыли «Джузеppе». Там он сел в машину и, видимо, устроил гонки на месте. Мне рассказал это парень, работающий в гараже. А когда он вышел из машины, то у него, по словам парня, был очень несчастный вид, и он брел, как лунатик. Поэтому я привел сегодня утром «Джузеppе» и сказал Хольману, что он может прокатиться разок.

– Значит, вы сами толкнули его на это?

– Я дал ему ключи и сказал, где стоит «Джузеppе», – ответил Клерфэ. – Большего не потребовалось.

Клерфэ высоко поднял Лилиан и посадил ее рядом с собой на скамейку.

– Хотите подождать, пока он вернется? Это может быть не скоро.

Лилиан не ответила; но она и не уходила. Клерфэ посмотрел на нее. «Как она молода, – подумал он. – Вечером она выглядела лет на пять старше. Странно, обычно бывает как раз наоборот».

– Дисциплинированность – похвальное качество, – сказал Клерфэ. – Но иногда на ней можно споткнуться. А когда спотыкается этакий твердокаменный субъект – это смешно; надо проявить в нужный момент немного человечности. Пусть Хольман рискнет и получит насморк, но зато снова поверит в себя. Это лучше, чем быть осторожным и считать себя калекой. Неужели вы не согласны со мной?

Лилиан почувствовала вдруг, как в ней закипает ненависть к Клерфэ.

– Насморки здесь смертельны, – сказала она в бешенстве. – Но это вас не волнует! Вы скажете, конечно, что смерть для него была бы счастьем, ведь он поездил на машине и уверовал в то, что станет великим гонщиком.

Произнеся эти слова, она почувствовала раскаяние.

Клерфэ молчал.

Они опять услышали шум мотора и вслед за тем увидели машину. Темная и очень маленькая, она стрелой пронеслась позади деревни к шоссе, которое вело на перевал.

– Как бы вы поступили на его месте? – спросила Лилиан.

Клерфэ повернулся к ней:

– Я? Думаю, что я не вернулся бы обратно. Я бы поехал дальше, через перевал вниз...

Она пристально посмотрела на него:

– А потом?

– Потом я бы еще раз попробовал выжать из себя все, что можно, я бы накинулся на жизнь так, словно она мой враг или любовница, я бы наслаждался ею, пока не свалился... Это

лучше, чем... – Он перебил себя. – Впрочем, может, я тоже причитал бы и ползал, вымаливая у судьбы еще час, еще денек или еще минуту... Так поступали на моих глазах люди, от которых я этого меньше всего ожидал. Никто не знает ничего наперед. – Он посмотрел на Лилиан. – Разве вы не говорили вчера вечером, что каждому хочется жить, даже калеке, даже развалине, и при каких угодно обстоятельствах, пусть при самых ужасающих?

– Да. – Лилиан выдержала его взгляд. – Но разве вы сами не говорили мне, что вчерашний вечер – это далекое прошлое?

Издали снова послышался рев мотора. Он быстро приближался.

– Хольман возвращается, – сказал Клерфэ.

– Да, возвращается, – повторила Лилиан со странным смешком. – Он не поехал через перевал.

Клерфэ поглядел на нее сбоку.

– Вам уже говорили, что вы очень красивая женщина?

– Да, – сказала Лилиан, вставая. – И притом в значительно менее примитивных выражениях.

* * *

Лилиан терпеть не могла входить в темную комнату, поэтому она всегда оставляла свет; зато дежурная сестра так же упорно гасила его.

Так было и на этот раз.

Лилиан включила свет.

На столе стояла белая картонная коробка, обвязанная белой лентой. «Цветы, – подумала она. – От кого? Конечно, от Бориса, от кого же еще?»

Она освободила коробку от ленты, сняла крышку и папиросную бумагу... и в то же мгновение бросила цветы вместе с коробкой на пол, словно это была крапива.

В коробке были белые орхидеи...

Цветы лежали на ковре. Рядом с ними лежала черная перчатка, похожая на темную руку, протянутую сквозь пол. Лилиан не сводила глаз с орхидей. Она их уже видела раньше, в этом не могло быть никаких сомнений. Лилиан пересчитала цветы, да, верно, столько их и было. Таких орхидей здесь, в лавке, не продавали. Она ведь сама искала их, а потом выписала из Цюриха. Эти самые цветы, которые валялись сейчас на полу, она положила на гроб Агнес Сомервилл.

Лилиан осторожно обошла цветущую ветку, словно это была змея. Потом открыла окно, нагнулась, захватила кончиками пальцев бумагу и, собрав ею с пола цветы, выбросила и то и другое через окно. Коробка отправилась следом.

Выбрасывая орхидеи, Лилиан не заметила записки Клерфэ. Она не понимала, как здесь очутилась перчатка, походившая на мертвую почерневшую руку, на таинственный знак потустороннего мира. Лилиан не узнала свою перчатку. Она поспешила подняла ее с пола и швырнула через окно.

«Я становлюсь истеричкой, – подумала она. – Мне чудятся потусторонние силы там, где их нет и в помине. Все должно разъясниться, цветы эти куплены в обычной цветочной лавке, – не духи же послали их с помощью сверхъестественной силы. И сейчас они лежат внизу, на земле».

Лилиан подошла к окну и выглянула наружу. Она с трудом удержалась от крика. Орхидей не было. Несмотря на легкий туман, она хорошо различала снег, кругом было тихо, нигде ни души, поднять цветы было некому. Коробки тоже не оказалось. Все исчезло, словно растворилось в воздухе. Только перчатка с растопыренными пальцами лежала на снегу, маленькая, черная и угрожающая.

Лилиан закрыла окно. «Уйти отсюда, – подумала она. – Но куда? К Борису?» Она знала все, что он скажет. Может, пойти к Долорес Пальмер на второй этаж? У Долорес тайком соберутся сегодня несколько человек; там будут патефон и пластинки и, как всегда, – судорожное, безрадостное веселье. Что ей там делать? Может быть, к Хольману? Но что скажет Хольман, она тоже знала. Нет, ей надо совсем уйти из санатория.

Она была в нерешительности. Потом позвонила в «Палас-отель» и вызвала Клерфэ.

Прошло какое-то время, пока он подошел к телефону.

– Вы можете заехать за мной? – спросила она.

– Сейчас?

– Да.

– Хорошо. Я скоро буду.

Когда она спустилась, Клерфэ уже стоял у служебного входа.

– Как попали сюда, на снег, мои цветы? – спросил он.

Лилиан проследила за его взглядом. В нескольких метрах от нее на снегу лежали орхидеи. Коробка тоже была здесь. Лилиан не сводила с них глаз. Потом сообразила, что сверху она их не видела потому, что белые орхидеи и белая коробка были незаметны на белом снегу.

– Это ваши цветы? – спросила она. – Вы послали мне эти цветы?

– Да, – сказал Клерфэ. – Но они, я вижу, вам не понравились.

– Где вы их взяли?

Клерфэ с изумлением посмотрел на Лилиан.

– Купил в цветочной лавке. Сегодня днем. А что?

– Орхидеи… те же самые, ту же самую ветку я положила вчера на гроб Агнес Сомервилл. Не просто похожие цветы… а именно эти… эти самые!

– Мрачная история! – Клерфэ покачал головой. – О Господи, я догадался! – вдруг сказал он. – Эти цветы я купил в лавке неподалеку от крематория. Теперь все ясно. Кто-то из предпримчивых служащих крематория сбыл их, вместо того чтобы сжечь. Я и сам удивлялся, как такие цветы могли попасть в эту жалкую лавочку. Вероятно, они это делали не раз! Практичные ребята! У таких ничего не пропадет. А что обман может открыться – маловероятно. Цветы нелегко запомнить. Кто же мог предположить, что здесь была одна-единственная орхидея такого сорта и что она к тому же снова попадет к вам? Редчайший случай, один из тысячи. – Он взял Лилиан за руку и почувствовал, что она дрожит. – Ну так что же нам делать? Прийти в смятение или посмеяться над предпримчивостью людей? По-моему, надо что-нибудь выпить. Пойдемте.

– Это отвратительно, – прошептала Лилиан.

– Так же, как и многое другое, не больше и не меньше, – сказал Клерфэ. – Однажды, чтобы совершив побег, мне пришлось облачиться в одежду только что убитого человека. Это было совершенно необходимо, иначе я бы не ушел, а если бы я не ушел, меня убили бы. По сей день помню, как это отвратительно. И самое отвратительное заключалось в том, что одежда была еще теплая. Я ожидал, что она будет холодной, но покойник не успел остыть. Мне пришлось надеть все, даже его нижнее белье. Мертвец дал мне взаймы свое тепло, и это чуть было не кончилось тем, что я потерял способность двигаться. К счастью, я случайно порезал палец ножиком мертвеца, это привело меня в ярость, и я взял себя в руки. Пошли.

– А цветы? – прошептала Лилиан. – Нельзя же их оставить здесь.

– Почему? – ответил Клерфэ. – Ведь цветы не имеют ничего общего ни с вами, ни со мной; они не имеют уже ничего общего и с мертвкой. Завтра я пришлю вам другие. Забудем про них! Вот перчатка.

Клерфэ откинул полость саней. При этом он заметил лицо возницы, увидел его глаза, которые спокойно, но с интересом смотрели на орхидеи, и Клерфэ понял, что, доставив Лилиан

и его к «Палас-отелю», тот человек сразу же отправится обратно и подберет цветы. Одному Богу известно, где они появятся снова.

— Мы не должны испытывать страха перед мертвыми, — сказал он, в то время как санки съезжали по извилистой дороге.

— Мы многое не должны, — пробормотала Лилиан. Клерфэ видел, что она все еще очень взволнована.

— Облачившись в одежду мертвеца, я несколько часов лежал, спрятавшись, у реки в ожидании ночи, — сказал он. — Я по-прежнему чувствовал страшное отвращение; но вдруг понял, что одежда, которую я носил, будучи солдатом, вероятно, тоже принадлежала мертвым... после трех лет войны было не так уж много новой форменной одежды... а потом я начал размышлять над тем, что почти все, чем мы владеем, нам дали мертвые... наш язык и наши знания, способность чувствовать себя счастливым и способность приходить в отчаяние. И вот, надев платье мертвеца, чтобы вернуться снова к жизни, я понял, что все, в чем мы считаем себя выше животных, — наше счастье, более личное и более многогранное, наши более глубокие знания и более жестокая душа, наша способность к состраданию и даже наше представление о Боге, — все это куплено одной ценой: мы познали то, что, по разумению людей, недоступно животным, познали неизбежность смерти. Это была странная ночь. Я не хотел думать о бегстве, чтобы не пасть духом, я думал о смерти, и это принесло мне утешение.

Он почувствовал, что Лилиан прислушивается к его словам. Наклонившись вперед, она смотрела на него.

Санки остановились у отеля. Перед входом на снегу было положено несколько досок. Лилиан вышла. Спортсмены в тяжелых лыжных ботинках и в свитерах топали назад и вперед; когда Лилиан, тоненькая, чуть наклонившись вперед, проходила между ними в своих вечерних туфельках, придерживая на груди пальто, она казалась почти экзотическим существом.

Клерфэ шел за нею. «И о чем только я говорю? — думал он. — Разве Хольман не предупреждал меня, что у них все это — табу? Но эта молодая женщина почти все время говорит о смерти. Может быть, ее ничего больше не интересует. Такие разговоры, оказывается, заразительны». И все же это было чем-то иным, чем телефонный разговор с Лидией Морелли, вызвавшей его из Рима час назад, с Лидией Морелли, которая знала все женские уловки и не забывала ни об одной из них.

— Давайте болтать сегодня весь вечер только о пустяках, — сказал он Лилиан.

Казалось, у старика нет туловища, так ровно лежало на нем одеяло. Лицо у него было изнуренное, но глаза, глубоко запавшие, не потеряли еще своей яркой синевы. Под кожей, напоминавшей смятую папиросную бумагу, набухли кровеносные сосуды. Старик лежал на узкой кровати в узкой комнате. Рядом с кроватью на ночной тумбочке стояла шахматная доска.

Старику звали Рихтер. Ему было восемьдесят лет, двадцать из них он провел в санатории. Рихтер был пациентом, которым гордился весь персонал. Когда главному врачу попадались малодушные больные, он всегда указывал им на Рихтера. Тот был для него настоящим кладом — он был при смерти и все же не умирал.

Лилиан сидела у его постели.

— Взгляните сюда! — сказал Рихтер, показывая на шахматную доску. — Он играет как сапожник. Не понимаю, что стало с Ренье?

Шахматы были страстью Рихтера. Во время войны все его партнеры в «Монтане» либо разъехались, либо поумирали. Несколько месяцев Рихтеру не с кем было играть; он стал ко всему безразличен и начал худеть. Тогда главный врач договорился, что Рихтер будет играть с членами цюрихского шахматного клуба.

Первое время нетерпеливый Рихтер передавал свои ходы по телефону; но это было слишком дорого, пришлось довольствоваться почтой. Так как письма шли довольно долго, то Рихтер практически мог делать ход не чаще, чем раз в два дня.

А потом появился Ренье. Он сыграл одну партию с Рихтером, и Рихтер почувствовал себя счастливым: наконец-то он опять имел достойного противника. Однако Ренье, который был освобожден из немецкого лагеря для военнопленных, узнав, что Рихтер немец, счел, что ему, французу, не подобает играть с ним.

Рихтер опять начал хиреть; Ренье тоже слег. Оба скучали, но Ренье продолжал упорствовать. Выход из положения нашел негр с Ямайки, принявший христианство. Он тоже был лежачий больной. Негр написал Рихтеру и Ренье, каждому в отдельности: он пригласил их играть с ним, не вставая с постели, по внутреннему телефону.

Оба партнера очень обрадовались. Единственная трудность заключалась в том, что негр не имел ни малейшего понятия об игре в шахматы. Но он просто гениально вышел из положения. Против Рихтера он играл белыми, а против Ренье черными. У него самого не было даже шахматной доски, ибо его функции заключались лишь в том, чтобы передавать Ренье и Рихтеру ходы друг друга, выдавая их за свои собственные.

Вскоре после конца войны негр умер. А Ренье и Рихтеру пришлось поселиться в комнатах без телефона, потому что оба они обеднели; теперь один из них жил на третьем этаже, а другой на втором.

Функции негра перешли к Крокодилице, а ходы передавали палатные сестры. Оба партнера все еще думали, что играют с негром; им сказали, что из-за острого процесса в гортани он не может говорить. Все шло хорошо, пока Ренье не разрешили снова встать. Свой первый визит он решил нанести негру. Так все обнаружилось.

За это время национальные чувства Ренье несколько поутихли. Услышав, что родственники Рихтера погибли в Германии при воздушном налете, он заключил с ним мир, и с этого дня оба партнера стали спокойно играть друг с другом.

Но потом и Рихтер, и Ренье опять слегли, так что другим больным пришлось исполнять роль посыльных, в том числе и Лилиан.

Три недели назад Ренье умер. Рихтер в это время был очень слаб, с минуты на минуту он мог умереть; поэтому никто не решился сказать ему о смерти партнера.

Рихтера надо было как-то обмануть, и Крокодилица влезла в игру; за последнее время она кое-как научилась играть, но, разумеется, не могла стать серьезным противником для Рихтера, а тот все еще думал, что играет с Ренье, и не мог надивиться перемене, произшедшей с этим сильным игроком, который вдруг превратился в форменного идиота.

– Вам надо научиться играть в шахматы, – сказал Рихтер Лилиан. – Хотите, я вас научу? Вы быстро все поймете.

Лилиан покачала головой. В синих глазах Рихтера она увидела страх. Старик боялся, что Ренье умрет и что он опять останется без партнера.

– Поверьте мне, – сказал Рихтер, – шахматы дают нашим мыслям совсем другое направление. Они так далеки от всего человеческого... от сомнений и тоски... это настолько абстрактная игра, что она успокаивает. Шахматы – мир в себе, не знающий ни суеты, ни... смерти. Они помогают. А ведь большого мы и не хотим, правда? Нам надо одно: продержаться до следующего утра...

– Да, – сказала Лилиан. – Большего здесь не хотят.

– Ну как? Начнем с сегодняшнего дня? – спросил Рихтер.

– Нет, – рассеянно ответила Лилиан, – теперь это уже не имеет смысла. Мне здесь осталось жить недолго.

– Вы уезжаете?

– Да, уезжаю.

«Что я говорю?» – испуганно подумала она.

– Вы выздоровели?

Хриплый голос старика прозвучал сердито, как будто Лилиан обманула его и решила дезертировать.

– Я не уезжаю насовсем, – поспешило сказала она. – Я уезжаю лишь на короткое время. Я вернусь обратно.

– Все возвращаются обратно, – прохрипел Рихтер, успокоившись. – Все.

– Передать ваш ход Ренье?

– Бесполезно. Можно считать, что я уже сделал ему мат. Скажите Ренье, что лучше начать сначала.

«Да, – подумала она, – начать сначала».

После обеда Лилиан уговорила молоденькую сестру показать ей последние рентгеновские снимки. Не успев как следует закрыть дверь, Лилиан вытащила из конверта темные снимки и принялась разглядывать их против света. Она не очень-то разбиралась в них, но помнила, как Далай-Лама несколько раз показывал ей затемнения и темные пятна. В последнее время он этого больше не делал.

Лилиан смотрела на снимки, на их блестящую серо-черную поверхность; от них зависела ее жизнь.

Вот ее плечевая кость, вот позвонки, ребра, весь ее скелет, а в промежутках то зловещее и неясное нечто, что зовется здоровьем или болезнью. Она вспомнила свои прежние снимки, вспомнила расплывчатые серые пятна на них и попыталась найти их вновь. Она разыскала эти пятна, и ей показалось, что они увеличились.

Лилиан резко обернулась. Теплый свет мирно струился из-под золотистого абажура. В комнате было тихо, но Лилиан почудилось, что тишина ждет ответа на вопрос, неведомый ей. Она повернулась к зеркалу.

– Ну, так что же? – раздался за ее спиной голос молоденькой сестры. Неслышно ступая на резиновых подошвах, сестра вошла, чтобы забрать снимки.

– В последние два месяца я потеряла два кило, – сказала Лилиан.

– Нельзя быть такой беспокойной. И надо есть побольше. Вы ведь уже очень неплохо поправились.

– Скажите, а вы когда-нибудь болели?

– Нет, никогда, если не считать кори и скарлатины. Ну, да и вы скоро поправитесь, – по привычке затараторила девушка. – Небольшие рецидивы всегда возможны. Особенно зимой.

– И весной, – с горечью сказала Лилиан. – И летом. И осенью.

– Надо быть спокойнее. И выполнять предписания профессора!

– Да, я так и сделаю, – сказала Лилиан, вдруг потеряв терпение.

– Вам надо побольше есть. Тогда вы быстро наберете эти несколько кило. – Сестра уже стояла в дверях. – Начните с сегодняшнего вечера. На ужин у нас шоколадное суфле с ванильным соусом.

Сестра ушла, а Лилиан все еще стояла неподвижно. Неужели это та же самая комната, какой она была минуту назад?

В дверь постучали. Вошел Хольман.

– Клерфэ завтра уезжает. Сегодня ночью – полнолуние. Поэтому в «Горной хижине», как обычно, будет праздничный. Давайте удерем и отправимся с ним наверх? Ведь это последний вечер с Клерфэ. Будет очень грустно провести его здесь. Пойдемте с нами?

Лилиан не ответила.

– Долорес Пальмер и Шарль Ней тоже хотят идти, – сказал Хольман. – Если мы улизнем отсюда часов в десять, то как раз поспеем к фуникулеру. Он работает сегодня до часу ночи.

— Вы изменились, — с неприязнью сказала Лилиан. — Раньше вы были так осторожны. Хольман засмеялся:

— И опять буду! Начиная с завтрашнего вечера. Клерфэ уедет, и снова наступит тишина и гладь. С завтрашнего вечера я стану самым послушным, самым осторожным пациентом. А вы нет? Ну, так как же, зайти за вами в десять?

— Да.

— Хорошо. Значит, мы сегодня празднуем.

— Что именно? — спросила Лилиан. Хольман оторопел.

— Каждый что-нибудь свое, — сказал он затем. — Что мы еще живы. Что приехал «Джузеппе». Что наступило полнолуние.

— И что завтра мы опять станем идеальными пациентами.

— Ну что же, я согласен и на это! Хольман ушел.

«Завтра, — думала Лилиан. — Завтра привычная санаторная рутина бесшумно поглотит все, как мокрый снег, который безостановочно падает в эту гнилую зиму, мягкий и тихий, засыпающий и заглушающий все живое... Только не меня, — думала она. — Только не меня!»

«Горная хижина» ярко светилась. Она была расположена высоко над деревней; раз в месяц, в полнолуние, ее не закрывали всю ночь, и посетители разъезжались с факелами.

Для больных санатория праздники в «Горной хижине» были своего рода маскарадами. Шарль Ней и Хольман наклеили себе усы, чтобы их нельзя было узнать. Красавица Долорес Пальмер накинула на волосы кружевной шарф и прикрыла лицо вуалеткой.

Лилиан не захотела надеть ни шарфа, ни вуали. Она была в своих обычных синих брюках и меховом жакете.

Лилиан выглядела очень взволнованной. В ночи было что-то драматичное: луна то выплывала из-за рваных облаков, то снова скрывалась за ними, тени от облаков ложились на белые склоны, и склоны оживали — казалось, гигантские фламинго с мощными крыльями летают над землей.

— Когда вы уезжаете? — спросила Лилиан Клерфэ.

— Завтра после обеда. Хочу до наступления темноты проехать перевал. — Он посмотрел на нее. — Поедете со мной?

— Да, — ответила она.

Клерфэ засмеялся; он ей не поверил.

— Хорошо, — сказал он. — Только не берите много вещей.

— Мне много не нужно. Куда мы поедем?

— Прежде всего мы избавимся от снега, который вы так ненавидите. Проще всего поехать в Тессин на Лаго Маджиоре. Весна идет оттуда. Сейчас там уже все в цвету.

— А потом куда?

— В Париж.

— Хорошо, — серьезно сказала Лилиан.

— Боже мой, — прошептал Хольман. — Пришел Далай-Лама! Вот он, стоит в дверях!

Все четверо поглядели на профессора, бледного, с лысиной во всю голову, в сером костюме. Он обозревал веселую суматоху, царившую в «Горной хижине». Потом повернулся и направился к столику, стоявшему слева, неподалеку от двери.

— Может, нам лучше исчезнуть? — с беспокойством спросил Хольман.

— Он вас не узнает, — сказала Лилиан. — Из-за усов.

— А вас? И Долорес?

— Мы можем сесть так, что он будет видеть Лилиан и Долорес только со спины, — сказал Шарль Ней. — Тогда он и их не узнает.

– Все равно узнает. У него не глаза, а рентгеновский аппарат. Но попробовать можно.
Сядьте на мое место, Лилиан.

Лилиан покачала головой.

– А вы, Долорес?

Помедлив секунду, Долорес встала и села так, чтобы Далай-Лама не смог ее увидеть.

Лилиан смотрела на врача, и он смотрел на нее.

– Смешно! – сказала она. – Но здесь поневоле становишься смешным.

– Люди всегда смешны, – возразил Клерфэ. – И если осознать это, жизнь кажется намного легче.

– В котором часу вы уезжаете завтра? – вдруг спросила Лилиан.

Он посмотрел на нее и сразу все понял.

– Когда хотите, – ответил он.

– Хорошо. Тогда заезжайте за мной в пять часов.

Когда Волков вошел, Лилиан укладывала чемоданы.

– Собираешься, душка? – спросил он. – Зачем? Ведь через два-три дня ты их опять распакуешь.

Она уже несколько раз укладывалась при нем. Каждый год – весной и осенью – ее, словно перелетную птицу, обуревало желание улететь. И тогда на несколько дней, а то и неделю, в ее комнате появлялись чемоданы; они стояли до тех пор, пока Лилиан не теряла мужества и не отказывалась от своего намерения.

– Я уезжаю, Борис, – сказала она. – На этот раз действительно уезжаю.

Он стоял, прислонившись к двери, и улыбался.

– Знаю, душка.

– Борис! – крикнула она. – Оставь это! Ничего уже не поможет! Я в самом деле уезжаю!

– Да, душка.

Лилиан почувствовала, как его мягкость и неверие, словно паутина, опутывают ее и парализуют.

– Я уезжаю с Клерфэ, – сказала она. – Сегодня! Она увидела, что выражение его глаз изменилось.

– Я уезжаю одна, – сказала она. – Но еду с ним потому, что иначе у меня не хватит мужества. Одна я не в силах бороться против всего этого.

– Против меня, – сказал Волков.

Он отошел от двери и встал возле чемоданов. Он увидел ее платья, свитеры, туфли, – и вдруг его пронзила острые боль, такая, какую ощущает человек, который вернулся с похорон близкого друга и уже взял себя в руки, но вдруг увидел что-то из вещей покойного – его туфли, блузу или шляпу.

Волков понял, что Лилиан действительно хочет уехать.

– Душка, – сказал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание, – ты не должна уезжать.

– Должна, Борис. Я хотела тебе написать. Вот смотри. – Она показала на маленькую латунную корзинку для бумаги у стола. – У меня ничего не вышло. Я не смогла. Напрасные старания – это невозможно объяснить. Потом я хотела уехать, не попрощавшись, и написать тебе оттуда, но и этого я бы не смогла. Не мучь меня, Борис...

«Не мучь меня, – думал он. – Они всегда так говорят, эти женщины – олицетворение беспомощности и себялюбия, никогда не думая о том, что мучают другого. Но если они даже об этом подумаю, становится еще тяжелее, ведь их чувства чем-то напоминают сострадание спасшегося от взрыва солдата, товарищи которого корчатся в муках на земле, – сострадание, беззвучно вопящее: „Слава Богу, в меня не попали, в меня не попали“...»

– Ты уходишь с Клерфэ?

— Я уезжаю с Клерфэ отсюда, — сказала Лилиан с тоской. — Он довезет меня до Парижа. В Париже мы расстанемся. Там живет мой дядя. У него мои деньги, та небольшая сумма, которая у меня есть. Я останусь в Париже.

Она знала, что это не совсем правда, но сейчас ей казалось, что она говорит правду.

— Пойми меня, Борис, — просила она.

— Зачем нужно, чтобы тебя поняли? Ведь ты уходишь — разве этого недостаточно?

Лилиан опустила голову.

— Да, этого достаточно. Бей еще.

«Бей еще, — подумал он. — Когда ты вздрагиваешь от боли, потому что тебе пронзили сердце, они стенают „бей еще“, как будто ты и есть убийца».

— Я тебя не бью.

— Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой?

— Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Вот в чем разница. «Я тоже лгу, — думал он. — Я хочу, чтобы она была со мной, ведь, кроме нее, у меня нет ничего, она — последнее, что у меня осталось, я не могу ее терять, о Боже, я не должен ее потерять!»

— Я не хочу, чтобы ты швырялась своей жизнью, словно это деньги, потерявшие всякую цену.

— Все это слова, Борис, — возразила она. — Если арестанту предложат на выбор — прожить год на свободе, а потом умереть или гнить в тюрьме, как, по-твоему, он должен поступить?

— Ты не в тюрьме, душка! И у тебя ужасно неправильное представление о том, что ты называешь жизнью, — сказал Волков.

— Конечно. Ведь я ее не знаю. Вернее, знаю только одну ее сторону — войну, обман и нужду, и если другая сторона принесет мне много разочарований, все равно она будет не хуже той, которую я узнала и которая, я уверена, не может исчерпать всей жизни. Должна же быть еще другая, незнакомая мне жизнь, которая говорит языком книг, картин и музыки, будит во мне тревогу, манит меня... — Она помолчала. — Не надо больше об этом, Борис. Все, что я говорю, — фальшь... становится фальшью, как только я произношу это вслух, мои слова — как нож. А я ведь не хочу тебя обидеть. Но каждое мое слово звучит оскорбительно. И даже если я сама уверена, что говорю правду, в действительности все оказывается совсем не так. Разве ты не видишь, что я ничего не понимаю?

Она посмотрела на него. В ее взгляде были и гаснущая любовь, и сострадание, и враждебность; ведь он стремился ее удержать, и он заставлял ее говорить о том, что она хотела забыть.

— Пусть Клерфэ уедет, и через несколько дней ты сама поймешь, как нелепо было идти за первым встречным, поманившим тебя, — сказал Волков.

— Борис, — с безнадежным видом сказала Лилиан, — неужели дело всегда только в другом мужчине?

Волков не ответил. «Я дурак, — думал он. — Я делаю все, чтобы оттолкнуть ее! Почему я не говорю, улыбаясь, что она права? Почему не воспользуюсь старой уловкой? Кто хочет удержать — тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить — того стараются удержать. Неужели я это забыл?»

— Нет, — сказал он. — Дело, может быть, не только в другом мужчине. Но если это так, почему ты не спросишь меня, не хочу ли я ехать с тобой?

— Тебя?

«Не то, — подумал он, — опять не то! Зачем навязываться?»

— Оставим это, — сказал он.

— Я не хочу ничего брать с собой, Борис, — продолжала она. — Я тебя люблю; но не хочу ничего брать с собой.

— Хочешь все забыть?

«Снова не то», — думал он с отчаянием.

– Не знаю, – сказала Лилиан подавленно. – Но я ничего не хочу брать с собой. Это невозможно. Не усложняй мне все!

Он замер на мгновение. Он знал, что не должен отвечать, и все же ему казалось страшно важным объяснить ей, что жить им обоим недолго и что когда-нибудь, когда у нее останутся считанные дни и часы, самым дорогим для нее будет то время, которым она сейчас так пренебрегает; и тогда она придет в отчаяние от того, что бросалась временем, и будет вымаливать, быть может, на коленях, ниспослать ей еще один день, еще час того, что теперь кажется ей скучным благополучием. Но он знал также и другое, что было еще ужаснее: если он попытается объяснить ей это, все, что он скажет, прозвучит сентиментально.

– Прощай, Лилиан, – сказал он.

– Прости меня, Борис.

– В любви нечего прощать. Он улыбался.

У Лилиан не было времени собраться с мыслями; явилась сестра и позвала ее к Далай-Ламе.

От профессора пахло хорошим мылом и специальным антисептическим бельем.

– Я видел вас вчера вечером в «Горной хижине», – начал он холодно.

Лилиан молча кивнула.

– Вы знаете, что вам запрещено выходить?

– Конечно, знаю.

Бледное лицо Далай-Ламы приобрело на секунду розоватый оттенок.

– Значит, по-вашему, все равно, подчиняетесь вы этому или нет. В таком случае мне придется просить вас оставить санаторий. Быть может, вы подыщете себе другое место, которое будет больше соответствовать вашим вкусам.

Лилиан ничего не ответила; ирония Далай-Ламы обезоружила ее.

– Я говорил со старшей сестрой, – продолжал профессор, который воспринял ее молчание как выражение испуга. – Она мне сказала, что это уже не в первый раз. Она вас неоднократно предупреждала. Но вы не обращали внимания. Подобные вещи подрывают нравственные устои санатория…

– Понимаю, – прервала его Лилиан, – я покину санаторий сегодня же вечером.

Далай-Лама был ошарашен.

– Это не так уж спешно, – ответил он, помедлив. – Вы можете обождать, пока не подыщете себе что-нибудь другое. А может, вы уже подыскали?

– Нет.

Профессор был несколько сбит с толку. Он ожидал слез и просьб еще раз попытаться простить ее.

– Почему вы сами разрушаете свое здоровье, фрейлейн Дюнкерк? – спросил он наконец.

– Когда я выполняла все предписания, мне тоже не становилось лучше.

– Разве можно не слушаться только потому, что вам вдруг стало хуже? – сердито воскликнул профессор. – Это глупость, гибельная для вас! – продолжал бушевать Далай-Лама, считавший, что, несмотря на суровую внешность, у него золотое сердце. – Выбросьте эту чепуху из вашей хорошенкой головки!

Он взял ее за плечи и тихонько встряхнул.

– А теперь идите к себе в комнату и с нынешнего дня точно выполняйте все предписания.

Движением плеч Лилиан освободилась от его рук.

– Я все равно нарушала бы предписания, – сказала она спокойно. – Поэтому я считаю, что мне лучше уехать из санатория.

Разговор с Далай-Ламой не только не испугал ее, но, наоборот, укрепил ее решимость. Он, как ни странно, уменьшил ее боль за Бориса, потому что у нее вдруг не оказалось выбора.

Она почувствовала себя так, как чувствует себя солдат, который после долгого ожидания получил наконец приказ идти в наступление. Пути назад не существовало. Неотвратимое уже стало частью ее самой, подобно тому, как приказ о наступлении уже содержит в себе и солдатскую форму, и грядущую битву, и, быть может, даже смерть.

– Не создавайте лишних хлопот, – бушевал Далай-Лама, – ведь здесь нет другого санатория, куда же вы денетесь?..

Он стоял перед ней, этот большой и добрый бог санатория, становясь все нетерпеливой: он предложил ей уехать, а эта упрямая кошка поймала его на слове и ждет, чтобы он взял его обратно.

– Наши правила – а их совсем немного – установлены в ваших же интересах, – горячился он. – До чего бы мы докатились, если бы в санаториях царила анархия?! А как же иначе? Ведь здесь не тюрьма, или вы другого мнения?

Лилиан улыбнулась.

– Я согласна с вами, – сказала она. – Теперь я уже не ваша пациентка. Вы можете опять говорить со мной как с человеком. А не как с ребенком или с арестантом.

Чемоданы были упакованы. «Уже сегодня вечером, – думала Лилиан, – горы будут далеко позади». Впервые за много лет ее охватило чувство безмерного, смутного ожидания – она ждала не чего-то несбыточного, не чуда, которого надо дожидаться годами, она ждала того, что произойдет с ней в ближайшие несколько часов. Прошлое и будущее пришли в неустойчивое равновесие; Лилиан чувствовала не одиночество, а отрешенность от всего. Она ничего не брала с собой и не знала, куда едет.

Она боялась, что Волков придет опять, и в то же время желала увидеть его еще раз. Вдруг за дверью послышались царапанье и тихий лай. Лилиан открыла. В комнату вбежала овчарка Волкова. Собака любила ее и часто приходила без хозяина, но сейчас Лилиан решила, что Борис с умыслом послал к ней собаку. Однако Волков не появлялся.

Закрыв дверь, она кралась по белому коридору, как вор, пытающийся скрыться. Она надеялась незаметно прошмыгнуть через холл, но старшая сестра поджидала ее у лифта.

– Профессор велел еще раз передать вам, что вы можете остаться.

– Спасибо, – сказала Лилиан и пошла дальше.

– Будьте благоразумны, мисс Дюнкерк. Вы не знаете, в каком вы состоянии. Сейчас вам нельзя менять климат. Летом – может быть…

Лилиан продолжала идти.

Несколько человек, сидевших за столиками для игры в бридж, подняли головы; больше в холле никого не оказалось – в санатории был мертвый час.

Борис не пришел. Хольман стоял у выхода.

– Если уж вы непременно решили ехать, то поезжайте хотя бы по железной дороге, – сказала старшая сестра.

Лилиан молча показала ей на шубу и шерстяные платки. Крокодилица сделала презрительный жест:

– Не спасет! Вы что же, стараетесь нарочно погубить себя?

– А кто этого не делает? Мы поедем медленно. Да и ехать не так уж далеко.

Ей оставалось сделать еще шаг.

– Вас предостерегли, – произнес ровный голос рядом с ней. – Мы не виноваты, и мы умываем руки.

И хотя Лилиан было не до смеха, она все же не могла не улыбнуться. Последняя штампованный фраза Крокодилицы спасла положение.

– Зачем вам мыть руки, они у вас и так стерильные. Прощайте! Благодарю вас за все.

Она вышла. Снег так сильно искрился, что слепил глаза.

– До свиданья, Хольман!

– До свиданья, Лилиан. Я скоро последую за вами. Она взглянула на него. Хольман смеялся. «Слава Богу, – подумала она, – наконец-то мне не читают нравоучений». Хольман закутал ее в шубу и в шерстяные платки.

– Мы поедем медленно, – сказал Клерфэ. – Когда солнце сядет, опустим верх. А от ветра мы пока защищены с боков.

– Хорошо, – ответила она. – Можно уже ехать?

– Вы ничего не забыли?

– Нет.

– Впрочем, если и забыли, вам пришлют.

Эта мысль не приходила раньше в голову Лилиан, и она утешила ее. Ведь Лилиан считала, что с отъездом оборвутся все нити, связывающие ее с санаторием.

– Да, в самом деле, можно попросить, чтобы прислали, – сказала Лилиан.

Машине отъехала, Хольман махал им рукой. Борис не появлялся.

Лилиан посмотрела вокруг. На террасах солярия, на которых еще минуту назад никого не было видно, вдруг появились люди. Больные, лежавшие там в шезлонгах, поднялись и выстроились цепочкой. Тайный телеграф санатория уже известил их о происходящем, и теперь, услышав шум мотора, они встали и глядели вниз; тонкая цепочка людей темнела на фоне густо-синего неба.

– Как на верхнем ярусе во время боя быков, – сказал Клерфэ.

– Да, – согласилась Лилиан. – А кто же мы? Быки или матадоры?

– Всегда приходится быть быком. Но думаешь, что ты матадор.

Машине медленно ползла по белому ущелью, над которым, подобно ручью, струилось небо, синее, как цветы горчанки. Перевал уже был позади, но сугробы по обеим сторонам дороги все еще достигали почти двухметровой высоты. За ними ничего нельзя было разглядеть. Куда ни кинешь взгляд, повсюду виднеются лишь снежные стены и синяя полоса неба; Лилиан сидела, откинувшись назад, и порой она переставала различать, что было наверху и что внизу, – где синее и где белое.

Потом запахло смолой и хвоей, и перед ними вдруг выросла деревня – коричневые низенькие домики. Клерфэ остановил машину у бензоколонки.

– По-моему, уже пора снять цепи. Как там дальше дорога? – спросил он у паренька с заправочной станции.

– Будь здоров!

– Что? – Клерфэ посмотрел на паренька. – Да ведь мы знакомы! Тебя зовут Герберт, или Гельмут, или…

– Губерт.

Парень показал на большую жестяную вывеску, прикрепленную к двум стойкам перед заправочной станцией:

Г. ГЕРИНГ.

ГАРАЖ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

– Это не новая вывеска? – спросил Клерфэ.

– Да нет, совсем новенькая.

– Почему же ты не написал свое имя полностью?

– Так практичнее. Могут подумать, что меня зовут Герман.

– Скорее можно было ожидать, что тебе захочется поменять фамилию, а не выписывать ее такими громадными буквами.

— Эдак я бы здорово свалил дурака, — заявил паренек. — Особенно теперь, когда снова появились немецкие машины! Вы не можете себе представить, какие чаевые я получаю! Нет, сударь, для меня это источник дохода.

Клерфэ посмотрел на его кожаную куртку:

— Она тоже из этого источника?

— Только наполовину. Но еще до конца сезона он принесет мне лыжные ботинки и пальто. Это уж точно.

— А может, ты просчитаешься. Многие не дадут тебе чаевых как раз из-за твоей фамилии. Ухмыляясь, парень бросил цепь в машину.

— Но не те, кто снова позволяет себе ездить сюда, чтобы заниматься зимним спортом. Да и вообще ничего плохого не может случиться: одни дают, радуясь, что его уже нет, другие — потому что у них связаны с ним приятные воспоминания, но дают почти все. С тех пор как здесь появилась эта вывеска, я кое-чему научился. Вам бензин нужен, сударь?

— Да, нужен, — сказал Клерфэ, — целых семьдесят литров, но я куплю его не у тебя, а у кого-нибудь другого, менее оборотистого.

Через час снег уже был далеко. Поля стали черные и мокрые, а на лужайках виднелась прошлогодняя трава — желтая и серо-зеленая.

— Хотите остановиться? — спросил Клерфэ.

— Пока нет.

— Боитесь, что нас догонит снег? Лилиан кивнула.

— Я больше не хочу его видеть.

— Вы его не увидите до будущей зимы.

Лилиан ничего не ответила. «До будущей зимы», — подумала она. Зима казалась далекой, как звезда. Ей никогда не достичь ее.

— Может, нам все же выпить? — спросил Клерфэ.

— Да, — сказала Лилиан. — Когда мы приедем на Лаго Маджиоре?

— Через несколько часов. Поздно вечером.

Клерфэ остановил машину у деревенской гостиницы. Они зашли в комнату для приезжих. Молоденькая официантка зажгла свет. На стенах висели гравюры с изображениями токущих глухарей и ревущих оленей.

— Вы проголодались? — спросил Клерфэ. — Вы вообще что-нибудь ели?

— Ничего.

— Я так и знал. — Он повернулся к девушке. — Что у вас есть?

— Салами, охотничий колбаски и шублиги.

— Две порции шублигов и несколько кусочков вон того темного хлеба. Принесите еще масло и разливное вино. У вас есть фендан?

— Есть фендан и есть вельполичелло.

— Нам фендан. А что вы сами выпьете?

— Сливяночку, если не возражаете, — сказала девушка.

— Не возражаю.

Лилиан сидела в углу возле окна. Она прислушивалась к разговору Клерфэ и девушки.

Красноватый свет лампы, отражаясь в бутылках на стойке, превращался в зеленые и красные блики. Черные деревья за окном подымались к высокому зеленоватому вечернему небу; в деревенских домиках зажглись первые огоньки. Все казалось таким мирным и таким естественным. Этот вечер не знал ни страха, ни бунта. И Лилиан была его частью, такой же естественной и мирной, как все остальные. Она спаслась! Когда она это почувствовала, у нее чуть не перехватило дыхание.

– Шублиги – это жирные деревенские колбаски, – объяснял Клерфэ. – Необычайно вкусные, но, может, вам они не понравятся?

– Мне все нравится.

Девушка принесла светлое вино. Она налила его в маленькие стаканчики. Потом подняла свой стакан со сливовой водкой:

– Ваше здоровье!

Они выпили. Клерфэ огляделся: гостиница была бедной.

– Это еще не Париж, – улыбаясь, сказал он.

– Для меня это уже первый пригород Парижа, – ответила Лилиан.

До Гёшенена ночь была ясная, светили звезды. Клерфэ погрузил «Джуゼppe» на одну из товарных платформ, которые стояли у перрона. Кроме их машины, через тоннель ехали еще два лимузина и спортивная машина красного цвета.

– Хотите остаться в машине или поедем в вагоне? – спросил Клерфэ.

– Мы не очень испачкаемся, если останемся здесь?

– Нет. Это электровоз. И мы опустим верх. Железнодорожник подложил под колеса деревянные колодки для устойчивости. Другие пассажиры тоже остались в машинах. В обоих лимузинах горел верхний свет.

Вагоны сцепили, и поезд въехал в Сен-Готардский тоннель.

Стены в тоннеле были мокрые. Огоньки пролетали мимо. Через несколько минут Лилиан начало казаться, что она в шахте и опускается в глубь земли. Воздух стал тяжелым и затхлым. Шум поезда повторяло тысячекратное эхо.

Освещенные лимузины, качавшиеся перед глазами Лилиан, казались ей вагонетками на пути в ад.

– Будет этому когда-нибудь конец? – крикнула она.

– Через четверть часа. Сен-Готардский тоннель – один из самых длинных в Европе. – Клерфэ протянул ей свою плоскую флягу, которую он заново наполнил в гостинице. – Не мешало бы к этому привыкнуть, – сказал он. – Судя по тому, что слышишь и видишь, мы скоро будем так жить. Сперва в бомбоубежищах, а потом в подземных городах.

– В каком месте мы выедем?

– У Айроло. Оттуда до Италии рукой подать.

Лилиан пугал первый вечер. Она ждала раскаяния, ждала, что воспоминания обступят ее, как крысы, выползающие из темноты. Но езда через грохочущее каменное брюхо земли вытеснила у нее все мысли. Ее охватил страх, свойственный каждому живому существу, обитающему не под землей, а на земле, страх быть погребенным; она с такой страстью ждала света и неба, что другие чувства в ней исчезли. «Как быстро все меняется, – думала она. – Всего несколько часов назад я была высоко в горах и мечтала спуститься вниз. Теперь я мчусь под землей и мечтаю опять подняться наверх».

Из одного лимузина вылетел кусок бумаги и ударился о ветровое стекло их машины.

– Есть люди, которые всегда и повсюду закусывают, – сказал Клерфэ. – Даже в ад они прихватят с собой бутерброды.

Он высунул руку и отлепил бумагу от стекла.

Еще один кусок оберточной бумаги пролетел под землей. Лилиан засмеялась. За ним последовал снаряд, который стукнулся в раму их окна.

– Булочка, – сказал Клерфэ. – Эти господа едят только колбасу, а хлеб – нет. Злые духи мещанства в утробе земли.

Лилиан усилась поудобнее. В тоннеле было что-то магическое. Казалось, он снимал все, что налипло на нее прежде. Как будто острые щетинки шума сдирали с Лилиан прошлое. Став-

рая планета, на которой находился санаторий, осталась навсегда позади; вернуться назад было невозможно, как невозможно дважды перейти Стикс.

Она внезапно очутится на новой планете, выброшенная из недр земли, падающая и одновременно влекомая вперед, с одной-единственной мыслью: она вырвалась отсюда, и она живет. В последнюю минуту ей показалось, что ее тащат по длинному подземному рву, падающие стены которого уже почти сомкнулись над ней, ее тащат вперед, к свету, который вдруг появился в конце рва, как молочно-белая дароносница, а потом начал стремительно приближаться к ней и замер. Вместо шума послышался обычный стук, и все стихло. Поезд остановился, он был окутан чем-то легким, серо-золотым, тихонько шелестевшим. То был воздух жизни, сменивший холодный мертвый воздух подземелья. Только потом Лилиан поняла, что идет дождь. Она прислушалась к шуму капель, которые тихо стучали по крыше машины, вдохнула в себя мягкий воздух и подставила руку под дождь.

«Спасена», – подумала она.

– Лучше было бы наоборот, – сказал Клерфэ. – Там дождь, а здесь – хорошая погода. Вы разочарованы?

Она покачала головой.

– Я не видела дождя с октября прошлого года. Клерфэ посмотрел на нее.

– Ну, тогда другое дело. И вы не спускались вниз четыре года? Это почти так же, как если бы вы родились во второй раз, родились заново, но уже с воспоминаниями.

– С воспоминаниями о войне, разрухе, бегстве и смерти. И где-то на самом донышке – о почти потерянном детстве, но детство было так давно, что на эти воспоминания наслойлось много других.

Клерфэ свернул на шоссе.

– Мы заправимся здесь, а не у Губерта Геринга, у этого пройдохи, наживающегося на кровавой тени.

Он отдал ключи механику и повернулся к Лилиан.

– Вам можно позавидовать. Вы еще раз начинаете все сначала. Сохранив пыл молодости, но потеряв ее беспомощность.

Поезд ушел, его красные огоньки исчезли за пеленой дождя. Механик принес ключи обратно. Машина задним ходом выехала на шоссе. Клерфэ затормозил, чтобы развернуться. На мгновение он увидел Лилиан в маленьком пространстве под спущенным верхом машины, отделенную от рябивших и шумливых дождевых струй, в спокойном свете приборного щитка. Ее лицо, освещенное лампочками часов и приборов для измерения расстояния и скорости, казалось Клерфэ, вопреки всем этим механизмам, не подвластным времени, вне его, как сама смерть, с которой Лилиан мчится наперегонки. Клерфэ вдруг понял, что по сравнению с этими гонками все автомобильные гонки на свете – детская игра.

«Когда я высажу ее в Париже, я ее потеряю», – подумал он.

– Что вы будете делать в Париже? Вы уже решили? – спросил Клерфэ.

– Там у меня дядя. Он распоряжается моими деньгами. До сих пор он посыпал мне ежемесячно определенную сумму. Теперь я заберу все деньги. Разыграется целая трагедия. Ему все еще кажется, что мне шестнадцать лет.

– А сколько вам на самом деле?

– Двадцать четыре плюс восемьдесят. Клерфэ рассмеялся.

– Прекрасное сочетание. Мне когда-то было тридцать шесть плюс восемьдесят… когда я пришел с войны.

Лилиан повернулась к нему.

– Ну и что было дальше? – спросила она быстро.

– Дальше мне стало сорок, – сказал Клерфэ, включая первую скорость.

Машина взяла подъем от вокзала к шоссе и начала спускаться вниз. В тот момент, когда она въехала на длинный спуск, сзади взревел другой мотор – то была красная спортивная машина, которая вместе с ними прошла через тоннель. Ее водитель задержался у заправочной станции, и теперь машина бушевала так, будто в ней было не четыре цилиндра, а все шестнадцать.

– Такие типы не переводятся. Он хочет устроить гонки. Давайте проучим его! А может, не будем разрушать его иллюзий? Пусть думает, что у него самая быстроходная машина на свете!

– Пусть думает.

– Хорошо.

Клерфэ остановил «Джуゼппе». Красная спортивная машина тоже остановилась, водитель засигналил. Он вполне мог обогнать машину Клерфэ – места было достаточно. Но он во что бы то ни стало хотел устроить гонки.

– Ну что ж, – сказал Клерфэ и опять включил мотор. – Таков человек – он ищет своей гибели.

До самого Файдо красная машина ехала за ними, навевая на них скуку. Она все пыталась догнать Клерфэ.

– Он еще доездится до смерти.

Клерфэ затормозил, но тут же опять дал газ.

– Ну и сапожник! Вместо того чтобы обогнать нас, он чуть не врезался в нашу машину.

Клерфэ направил «Джуゼппе» к обочине на правой стороне дороги. Он остановил машину перед бензоколонкой. На этот раз красная машина не остановилась. Она с ревом проночкалась мимо них. Водитель презрительно помахал им рукой и засмеялся.

Вдруг стало очень тихо. Ничего не было слышно, кроме журчания ручейка и почти беззвучного шелеста дождя. «Это и есть счастье, – думала Лилиан. – Минута тишины перед тем, что тебя ждет». Ей никогда не забыть эту ночь, нежное журчание воды и мокрое, блестящее шоссе.

Через четверть часа они попали в полосу тумана. Клерфэ включил подфарники. Он ехал очень медленно. Вскоре опять стали видны обочины дороги. На сто метров вперед туман был смыт дождем, потом они снова оказались в тумане, подымавшемся снизу.

Клерфэ резко затормозил. Они как раз выехали из тумана. Перед ними у километрового столбика стояла красная спортивная машина: одно ее колесо, заехав за столбик, висело над пропастью. Возле машины они увидели водителя – целого и невредимого.

– Вот это называется повезло, – сказал Клерфэ.

– Повезло? – заорал в злости водитель. – А машина? Посмотрите на нее. Машина не застрахована. Да еще рука!

– В худшем случае рука вывихнута, вы же можете двигать ею. Радуйтесь, что вы вообще остались целы.

Клерфэ вышел и посмотрел на разбитую машину.

– Иногда даже километровые столбики могут пригодиться.

– Это вы виноваты! – закричал пострадавший. – Вы вынудили меня ехать слишком быстро. Я считаю вас ответственным за все. Почему вы не пропускали меня, почему устроили гонку?..

Лилиан рассмеялась.

– Над чем смеется эта дама? – спросил сбитый с толку водитель.

– Это вас не касается. Но, поскольку сегодня счастливый день, я вам, так и быть, объясню. Дама явилась к нам с другой планеты и еще не знакома с нашими обычаями. Она смеется потому, что вы оплакиваете машину, вместо того чтобы радоваться своему спасению! Даме это совершенно непонятно. Я же, напротив, восхищаюсь вами. Из ближайшей деревни я пришло вам машину, чтобы вас вывезли.

– Стоп! Так легко вы не отделаетесь. Это вы вынудили меня ехать с вами наперегонки, не будь вас, я бы спокойно…

– Советую свалить все на проигранную войну, – сказал Клерфэ.

Водитель посмотрел на номер «Джузеppе».

– Французский! Как же мне получить свои деньги обратно? – В левой руке он держал карандаш и клочок бумаги, бестолково тыкая ими во все стороны. – Мне нужен ваш номер! Запишите мне ваш номер! Разве вы не видите, что я не могу писать левой рукой?

– Научитесь. Мне пришлось худшему научиться. Клерфэ опять сел в машину. Водитель шел за ним по пятам.

– Вы хотите сбежать от ответственности.

– Да. Но машину я вам все же пошлю.

– Что? Вы хотите оставить меня под дождем на дороге?

– Да. Моя машина двухместная. Дышите глубже, любуйтесь горами, благодарите Бога за свое спасение и думайте о том, что людям, гораздо лучшим, чем вы, пришлось умереть.

Они продолжали спускаться с горы, поворот за поворотом, спираль за спиралью.

– Тут скучная дорога, – сказал Клерфэ, – она тянется до Локарно. А там уж будет озеро. Вы не устали?

Лилиан покачала головой. «Устала! – подумала она. – Скучно! Неужели этот пышущий здоровьем человек, который сидит рядом со мной, не чувствует, как я трепещу? Неужели он не понимает, что со мной творится? Не чувствует, что застывший во мне образ мира вдруг начал оттаивать, задвигался и заговорил со мной, не чувствует, что заговорили и дождь, и мокрые скалы, и долина, и тени в долине, и огни, и дорога? Неужели он не понимает, что уже никогда я не буду так слита с природой, как теперь, когда я словно лежу в колыбели в объятиях неведомого бога, еще пугливая, как молодая птичка, но уже осознавшая, что все будет длиться лишь миг и что я потеряю этот мир, прежде чем он станет моим, потеряю эту улицу, эти деревья, грузовики у деревенских гостиниц и песню за окнами, треньканье гитары и эти названия: Осония, Крешиано, Кларо, Кастионе и Беллинцона. Названия, которые, едва появившись, уже исчезают, словно тени, исчезают, как будто их никогда и не было. Неужели он не видит, что я, подобно ситу, сразу же теряю все? Что я ничего не в силах удержать надолго?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.